

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ

Виктория
Токарева



ЛОШАДИ
С КРЫЛЬЯМИ

« А З Б У К А »

Русская литература. Большие книги

Виктория Токарева

Лошади с крыльями

«Азбука-Аттикус»

2018

УДК 821.161.1-3Токарева
ББК 84(2Рос-Рус)6-44-я43

Токарева В. С.

Лошади с крыльями / В. С. Токарева — «Азбука-Аттикус»,
2018 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21737-9

Повести Виктории Токаревой – панорама жизни, переплетение романтических, семейных и дружеских отношений, лоскутное одеяло случайных встреч и многолетних связей. Поучительные без назидания. Теплые без ложных сантиментов. Близкие и необходимые всем нам – нуждающимся в поддержке, доброте, мудрости и понимании, что ты не один.

УДК 821.161.1-3Токарева
ББК 84(2Рос-Рус)6-44-я43

ISBN 978-5-389-21737-9

© Токарева В. С., 2018
© Азбука-Аттикус, 2018

Содержание

Старая собака	6
Лошади с крыльями	33
Длинный день	59
Сентиментальное путешествие	94
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Виктория Самойловна Токарева

Лошади с крыльями

© Токарева В. С., 2018

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018

Издательство АЗБУКА®

Старая собака

Инна Сорокина приехала в санаторий не за тем, чтобы лечиться, а чтобы найти себе мужа. Санаторий был закрытого типа, для высокопоставленных людей, там вполне мог найтись для нее высокопоставленный муж. Единственное условие, которое она для себя оговорила, – не старше восьмидесяти двух лет. Все остальное, как говорила их заведующая Ираида, имело место быть.

Инне шел тридцать второй год. Это не много и не мало, смотря с какой стороны смотреть. Например, помереть – рано, а вступать в комсомол – поздно. А выходить замуж – последний вагон. Поезд уходит. Вот уже мимо плывет последний вагон. У них в роддоме тридцатилетняя женщина считается «старая первородящая».

Замужем Инна не была ни разу. Тот человек, которого она любила и на которого рассчитывала, очень симпатично слинял, сославшись на объективные причины. Причины действительно имели место быть, и можно было понять, но ей-то что. Это ведь его причины, а не ее.

В наше время принято выглядеть на десять лет моложе. Только малокультурные люди выглядят на свое. Инна не была малокультурной, но выглядела на свое – за счет лишнего веса. У нее было десять лишних килограмм. Как говорил один иностранец: «Ты немножко тольстая, стрэмительная, и у тебя очень красивые глаза...»

Инна была «немножко тольстая», высокая крашенная блондинка. Волосы она красила югославской краской. Они были у нее голубоватые, блестящие, как у куклы из магазина «Лейпциг». Время от времени она переставала краситься – из-за хандры, или из-за того, что пропала краска, или лень было ехать в югославский магазин, – и тогда от корней начинали взрастать ее собственные темно-русые волосы. Они отрастали почти на ладонь, и голова становилась двухцветной – половина темная, а половина белая.

Сейчас волосы были тщательно покрашены и промыты и существовали в прическе под названием «помоталка». Идея прически состояла в следующем: вымыть голову ромашковым шампунем и помотать головой, чтобы они высохли естественно и вольно, без парикмахерского насилия.

Одета Инна была в белые фирменные джинсы и белую рубаху из модной индийской марли и в этом белом одеянии походила на индийского грузчика, с той только разницей, что индийские грузчики – худые брюнеты, а Инна – плотная блондинка.

Войдя в столовую, Инна оглядела зал. Публика выглядела как филиал богадельни. Старость была представлена во всех вариантах, во всем своем многообразии. Средний возраст, как она мысленно определила, – сто один год.

Инна поняла, что зря потратила отпуск, и деньги на путевку, и деньги на подарок той бабе, которая эту путевку доставала.

Инну посадили за стол возле окна на шесть человек. Против нее сидела старушка с розовой лысинкой, в прошлом клоун, и замужняя пара. Он – по виду завязавший алкоголик. У него были неровные зубы, поэтому неровный язык, как хребет звероящера, и привычка облизываться. Она постоянно улыбалась, хотела понравиться Инне, чтобы та, не дай бог, не украла ее счастье в виде завязавшего алкоголика с ребристым языком. Одета была как чучело, будто вышла не в столовую высокопоставленного санатория, а собралась в турпоход по болотистой местности.

Завтрак подавали замечательный, с деликатесами. Но какое это имело значение? Ей хотелось пищи для души, а не для плоти. Хотелось влюбиться и выйти замуж. А если не влюбиться, то хотя бы просто устроиться. Человеческая жизнь рассчитана природой так, чтобы успеть взрастить два поколения – детей и внуков. Поэтому все надо успеть своевременно. Эту беспощадную своевременность Инна наблюдала в прошлый отпуск в деревне. Три недели стояла

земляника, потом пошла черника, а редкие земляничные ягоды будто напились воды. Следом – малина. За малиной – грибы. Было такое впечатление, что все эти дары лета выстроились в очередь друг за дружкой и тот, кто стоит в дверях, выпускает их одного за другим на определенное время. И каждый вид знает, сколько ему стоять. Так и человеческая жизнь: до четырнадцати лет – детство. От четырнадцати до двадцати четырех – юность. С двадцати четырех до тридцати пяти – молодость. Дальше Инна не заглядывала. По ее расчетам, ей осталось три года до конца молодости, и за эти три года надо было успеть что-то посеять, чтобы потом что-то взрастить.

Внешне Инна была высокая блондинка. А внутренне – наивная хамка. Наивность и хамство – качества полярно противоположные. Наивность связана с чистотой, а хамство – с цинизмом. Но в Инне все это каким-то образом совмещалось – наивность с цинизмом, ум с глупостью и честность с тяготением к вранью. Она была не врунья, а вруша. На первый взгляд это одно и то же. Но это совершенно разные вещи. По задачам. Врунья врет в тех случаях, когда путем вранья она пытается чего-то достичь. В данном случае – это оружие. Средство. А вруша врет просто так. Ни за чем. Знакомясь с людьми, она говорила, что работает не в родильном доме, а в кардиологическом центре, потому что сердце казалось ей более благородным органом, чем тот, с которым имеют дело акушерки. В детстве она утверждала, что ее мать не уборщица в магазине, а киноактриса, работающая на дубляже (поэтому ее не бывает видно на экранах).

Наивность среди прочих проявлений заключалась в ее манере задавать вопросы. Она, например, могла остановить крестьянку и спросить: «А хорошо жить в деревне?» Или спросить у завязавшего алкоголика: «А скучно без водки?» В этих вопросах не было ничего предосудительного. Она действительно была горожанка, никогда не жила в деревне, никогда не спивалась до болезни, и ее интересовало все, чего она не могла постичь собственным опытом. Но, встречаясь с подобным вопросом, человек смотрел на Инну с тайным желанием понять: она дура или придуривается?

Что касается хамства, то оно имело у нее самые разнообразные оттенки. Иногда это было веселое хамство, иногда обворожительное, создающее шарм, иногда умное, а потому циничное. Но чаще всего это было нормальное хамское хамство, идущее от постоянного общения с людьми и превратившееся в черту характера. Дежуря в предродовой, она с трудом терпела своих рожениц, трубящих как слоны, дышащих как загнанные лошади. И роженицы ее боялись и старались вести себя прилично, и бывали случаи – рожали прямо в предродовой, потому что стеснялись позвать лишний раз.

Возможно, это хамство было как осложнение после болезни – дефект неустроенной души. Лечить такой дефект можно только лаской и ощущением стабильности. Чтобы любимый муж, именно муж, звонил на работу и спрашивал: «Ну, как ты?» Она бы отвечала: «Да ничего...» Или гладил бы по волосам, как кошку, и ворчал без раздражения: «Ну что ты волосы перекрашиваешь? И тут врешь. Только бы тебе врать».

Прошла неделя. Погода стояла превосходная. Инна томилась праздностью, простым душой и каждое утро после завтрака садилась на лавочку и поджидала: может, придет кто-нибудь еще. Тот, кто должен приехать. Ведь не может же Он не приехать, если она ТАК его ждет.

Клоунесса усаживалась рядом и приставала с вопросами. Инна наврала ей, что она психоаналитик. И клоунесса спрашивала, к чему ей ночью приснилась потрошенная курица.

– Вы понимаете, я вытащила из нее печень и вдруг понимаю, что это моя печень, что это я себя потрошу...

– А вы Куприна знали? – спросила Инна.

– Куприна? – удивилась клоунесса. – А при чем здесь Куприн?

– А он цирк любил.

Старушка подумала и спросила:

- А как вы думаете, есть жизнь после жизни?
- Я ведь не апостол Петр. Я психоаналитик.
- А что говорят психоаналитики?
- Конечно, есть.
- Правда? – обрадовалась старушка.
- Конечно, правда. А иначе – к чему все это?
- Что «это»?
- Ну Это. Все.
- Честно сказать, я тоже так думаю, – шепотом поделилась клоунесса. – Мне кажется, что Это начало Того. А иначе зачем Это?
- Чтобы нефть была.
- Нефть? А при чем тут нефть?
- Каменный уголь – это растения. Торф. А нефть – это люди. Звери.
- Но я не хочу в нефть.
- Мало ли что...
- Но вы же только что сказали «есть», а сейчас говорите – нефть, – обиделась старушка.

В этот момент в конце аллеи показалась «Волга». Она ехала к главному корпусу, и правильно сказать – не ехала, а летела, будто не касалась колесами асфальтированной дорожки. Инна насторожилась. Так могла лететь только судьба. Возле корпуса машина встала. Не остановилась и не затормозила, а именно встала как вкопанная. Чувствовалось, что за рулем сидел супермен, владеющий машиной, как ковбой мустангом.

Дверца «Волги» распахнулась, и с двух сторон одновременно вышли двое: хипповая старушка с тонкими ногами в джинсовом платье и ее сын, а может, и муж с бородкой под Добролюбова. «Противный», – определила Инна, но это было неточное определение. Он был и привлекателен, и отталкивающ одновременно. Как свекла – и сладкая, и пресная в одно и то же время.

Он взял у старушки чемодан и понес его в корпус. «Муж», – догадалась Инна. Он был лет на двадцать моложе, но в этом возрасте, семьдесят и пятьдесят, разница не смотрится так контрастно, как, скажем, в пятьдесят и тридцать. Инна знала, сейчас модны мужья, годящиеся в сыновья. Как правило, эти внешне непрочные соединения стоят подолгу, как временные мосты. Заведующая Ираида старше своего мужа на семнадцать лет и все время ждет, что он найдет себе помоложе и бросит ее. И он ждет этого же самого и все время высматривает себе помоложе, чтобы бросить Ираиду. И это продолжается уже двадцать лет. Постоянные временщики.

Во время обеда она, однако, заметила, что сидят они врозь. Старушка в центре зала, а противный супермен – возле Инны. «Значит, не родственники», – подумала она и перестала думать о нем вообще. Он сидел таким образом, что не попадал в ее поле зрения, и она его в это поле не включила. Смотрела перед собой в стену и скучала по работе, по своему любимому человеку, который хоть и слинял, но все-таки существовал. Он же не умер, его можно было бы позвать сюда, в санаторий. Но звать не хотелось, потому что неинтересно было играть в проигранную игру.

Вспоминала новорожденных, спеленатых, как рыбки шпроты, и так же, как шпроты, уложенных в коляску, которую она развозила по палатам. Она набивала коляску детьми в два раза больше, чем положено, чтобы не ходить по десять раз, и возила в два раза быстрее. Рационализатор. И эта коляска так грохотала, что мамы приходили в ужас и спрашивали: «А вы их не перевернете?»

Новорожденные были похожи на старичков и старушек, вернее, на себя в старости. Глядя на клоунессу, сидящую напротив, и вспоминая своих новорожденных, Инна понимала, что природа делает кольцо. Возвращается на круги своя. Новорожденный нужен матери больше

всего на свете, а у глубоких стариков родителей нет, и они нужны много меньше, и это естественно, потому что природа заинтересована в смене поколений.

Клоунесса с детской жадностью жевала холодную закуску. Инна догадывалась, что для этого возраста ценен только факт жизни сам по себе, и хотелось спросить: «А как живется без любви?»

– А где моя рыба? – спросил противный супермен.

Он задал этот вопрос вообще. В никуда. Как философ. Но Инна поняла, что этот вопрос имеет к ней самое прямое отношение, ибо, задумавшись, она истребила две закуски: свою и чужую. Она подняла на него большие виноватые глаза. Он встретил ее взгляд – сам смутился ее смущением, и они несколько длинных, нескончаемых секунд смотрели друг на друга. И вдруг она увидела его. А он – ее.

Он увидел ее глаза и губы – наполненные, переполненные жизненной праной. И казалось, если коснуться этих губ или даже просто смотреть в глаза, прана перельется в него и тело станет легким, как в молодости. Можно будет побежать трусцой до самой Москвы.

А она увидела, что ему не пятьдесят, а меньше. Лет сорок пять. В нем есть что-то отроческое. Седой отрок. Интеллигент в первом поколении. Разночинец. Было очевидно, что он занимается умственным трудом, и очевидно, что его дед привык стоять по колено в навозе и шуровать лопатой. В нем тоже было что-то от мужика с лопатой, отсюда борода под Добролюбова. Маскируется. Прячет мужика. Хотя – зачем маскироваться? Гордиться надо.

Еще увидела, что он – не свекла. Другой овощ. Но не фрукт. Порядочный человек. Это было видно с первого взгляда. Порядочность заметна так же, как и непорядочность.

Она все смотрела, смотрела, видела его детскость, беспородность, волосы серые с бежевым, иностранец называл такой цвет «коммунальный», бледные губы, какие бывают у рыжеволосых, покорные глаза, привыкшие перемаргивать все обиды, коммунальный цвет усов и бороды.

– Как вас зовут? – спросила Инна.

– Вадим.

Когда-то, почти в детстве, ей это имя нравилось, потом разонравилось, и сейчас было скучно возвращаться к разочарованию.

– Можно, я буду звать вас иначе? – спросила она.

– Как?

– Адам.

Он тихо засмеялся. Смех у него был странный. Будто он смеялся по секрету.

– А вы – Ева.

– Нет. Я Инна.

– Ин-нна... – медленно повторил он, пружиня на «н».

Имя показалось ему прекрасным, просвечивающим на солнце, как виноградина.

– Это ваше имя, – признал он.

После обеда вместе поднялись и вместе вышли.

Вокруг дома отдыха шла тропа, которую Инна называла «гипертонический круг». На этот круг отдыхающие выползали, как тараканы, и ползли цепочкой друг за дружкой.

Инна и Адам заняли свое место в цепочке. Навстречу и мимо них прошла клоунесса в паре с хипповой старушкой. На старушке была малахитовая брошь, с которой было бы очень удобно броситься в пруд вниз головой. Никогда не всплывешь. Обе старушки обежали Инну и Адама глазами, объединив их своими взглядами, как бы проведя вокруг них овал. Прошли мимо. Инна ощутила потребность обернуться. Она обернулась, и старушки тоже вывернули шеи. Они были объединены каким-то общим флюидным полем. Инне захотелось выйти из этого поля.

– Пойдемте отсюда, – предложила она.

– Поедем на речку.

Дорога к реке шла сквозь высокую рожь, которая действительно была золотая, как в песне. Стебли и колосья скреблись в машину. Инна озиралась по сторонам, и казалось, что глаза ее обрели способность видеть в два раза ярче и интереснее. Было какое-то общее ощущение событийности, хотя невелико событие – ехать на машине сквозь высокую золотую рожь.

Изо ржи будто нехотя поднялась черная сытая птица.

– Ворона, – узнала Инна.

– Ворон, – поправил Адам.

– А как вы различаете?

– Вы, наверное, думаете, что ворон – это муж вороны. Нет. Это совсем другие птицы.

Они так и называются: ворон.

– А тогда как же называется муж вороны?

– Дело не в том, как он называется. А в том, кто он есть по существу.

Адам улыбнулся. Инна не видела, но почувствовала, что он улыбнулся, потому что машина как бы наполнилась приглушенной застенчивой радостью.

Целая стая взлетела, вспугнутая машиной, но поднялась невысоко, видимо понимая, что машина сейчас проедет и можно будет сесть на прежнее место. Они как бы приподнялись, пропуская машину, низко планировали, обметая машину крыльями.

Невелико событие – проезжать среди птиц, но этого никогда раньше не было в ее жизни. А если бы и было, она не обратила бы внимания. Последнее время Инна все выясняла отношения с любимым человеком, и ее все время, как говорила Ираида, бил колотун. А сейчас колотун отлетел так далеко, будто его и вовсе не существовало в природе. В природе стояла золотая рожь, низко кружили птицы, застенчиво улыбался Адам.

Подъехали к реке.

Инна вышла из машины. Подошла к самой воде. Вода была совершенно прозрачная. На середине в глубине стояли две метровые рыбины – неподвижно, нос к носу. Что-то ели или целовались.

Инна никогда не видела в естественных условиях таких больших рыб.

– Щелкоперка, – сказал Адам. Он все знал. Видимо, он был связан с природой и понимал в ней все, что надо понимать.

– А можно их руками поймать? – спросила Инна.

– А зачем? – удивился Адам.

Инна подумала: действительно, зачем? Отнести повару? Но ведь в санатории и так кормят.

Адам достал из багажника раскладной стульчик и надувной матрас. Матрас был яркий – синий с желтым и заграничный. Инна догадалась, что он заграничный, потому что от наших матрасов удушливо воняло резиной и этот запах не выветривался никогда.

Адам надул матрас для Инны, а сам уселся на раскладной стульчик возле самой воды. Стащил рубашку.

Инна подумала и тоже стала снимать кофту из индийской марли. Она расстегнула только две верхние пуговицы, и голова шла туго.

Адам увидел, как она барахтается своими белыми роскошными руками, и тут же отвернулся. Было нехорошо смотреть, когда она этого не видит.

Подул теплый ветер. По реке побежала сверкающая рябь, похожая на несметное количество сверкающих человечков, наплывающих фанатично и неумолимо – войско Чингисхана с поднятыми копьями.

Инна высвободила голову, сбросила джинсы, туфли. Медленно легла на матрас, как бы погружая свое тело в воздух, пропитанный солнцем, близкой водой, близостью Адама. Было

спокойно, успокоенно. Колотун остался в прежней жизни, а в этой – свернуты все знамена и распушены все солдаты, кроме тех, бегущих над целующимися рыбами.

«Хорошо», – подумала Инна. И подумала, что это «хорошо» относится к «сейчас». А счастье – это «сейчас» плюс «всегда». Сиюминутность плюс стабильность. Она должна быть уверена, что так будет и завтра, и через год. До гробовой доски и после гроба.

– А где вы работаете? – спросила Инна.

Этот вопрос был продиктован не праздным любопытством. Она забивала сваи в фундамент своей стабильности.

– В патентном бюро.

– А это что?

– Я, например, занимаюсь продажей наших патентов за границу.

– Это как? – Инна впервые сталкивалась с таким родом деятельности.

– Ну... Когда мы умеем делать что-то лучше, они у нас учатся, – популярно объяснил Адам.

– А мы что-то умеем делать лучше?

– Сколько угодно. Шампанское например.

Инна приподнялась на локте, смотрела на Адама с наивным выражением.

От слов «патентное бюро» веяло иными городами, степями, неграми, чемоданами в наклейках.

– А ваша жена – тоже в патентном бюро? – спросила Инна.

Это был генеральный вопрос. Ее совершенно не интересовало участие жены в общественной жизни. Ее интересовало – женат он или нет, а спросить об этом прямо было неудобно.

– Нет, – сказал Адам. – Она инженер.

«Значит, женат», – поняла Инна, но почему-то не ощутила опустошения.

– А дети у вас есть?

– Нет.

– А почему?

– У жены в студенчестве была операция аппендицита. Неудачная. Образовались спайки.

Непроходимость, – доверчиво поделился Адам.

– Но ведь это у нее непроходимость.

– Не понял. – Адам обернулся.

– Я говорю: непроходимость у нее, а детей нет у вас, – растолковала Инна.

– Да. Но что же я могу поделать? – снова не понял Адам.

«Бросить ее, жениться на мне и завести троих детей, пока еще не выстарился окончательно», – подумала Инна. Но вслух ничего не сказала. Подняла с земли кофту и положила на голову, дабы не перегреться под солнцем. Адам продолжал смотреть на нее, ожидая ответа на свой вопрос, и вдруг увидел ее всю – большую, молодую и сильную, лежащую на ярком матрасе, и подумал о том же, что и она, и тут же смутился своих мыслей.

Обедали они уже вместе. То есть все было как раньше, каждый сидел на своем месте и ел из своей тарелки. Но раньше они были врозь, а теперь – вместе. Когда подали второе, Адам снял со своей тарелки круглый парниковый помидор и перенес его в тарелку Инны – так, будто она его дочь и ей положены лучшие куски. Инна не отказалась и не сказала «спасибо». Восприняла как должное. На этом кругленьком, почти ненастоящем помидорчике как бы определялась дальнейшая расстановка сил: он все отдает, она все принимает без благодарности. И неизвестно – кому лучше? Дающему или берущему? Отдавая, человек лишается чего-то конкретного, скажем, помидора. А черпает из чаши ДОБРА.

Инна тоже черпала, было дело. Отдала все, чем была богата, – молодость, надежды. И с чем она осталась?

После обеда поехали по местным торговым точкам. Инна знала – в загородных магазинах можно купить то, чего не достанешь в Москве. В Москве у каждого продавца своя клиентура и клиентов больше, чем товаров. А здесь, в ста километрах, клиентов может не хватить, и стоящие товары попадают на прилавок.

Инна вошла в дощатый магазин, сразу же направилась в отдел «Мужская одежда» и сразу же увидела то, что было нужно: финский светло-серый костюм из шерстяной рогожки. Инна сняла с кронштейна костюм, пятидесятый размер, третий рост, и протянула Адаму.

– Идите примерьте! – распорядилась она.

Адам не знал, нужен ему костюм или нет. Но Инна вела себя таким образом, будто она знала за него лучше, чем он сам.

Адам пошел в примерочную, задернул плюшевую занавеску. Стал переодеваться, испытывая все время внутреннее недоумение. Он не привык, чтобы о нем заботились, принимали участие. Жена никогда его не одевала и не одевалась сама. Она считала – не имеет значения, во что одет человек. Имеют значение нравственные ценности. Она была человеком завышенной нравственности.

Инна отвела штормку, оглядела Адама. Пиджак сидел как влитой, а брюки были велики.

Инна принесла костюм сорок восьмого размера, высвободила с вешалки брюки и протянула Адаму.

– Наденьте эти брюки, – велела она. – А эти снимите.

– Почему? – не понял Адам.

– Велики.

– Разве?

– А вы не видите? Сюда же можно засунуть еще один зад.

– Зато не жмут, – неуверенно возразил Адам.

– Самое главное в мужской фигуре – это зад!

Она действительно была убеждена, что мужчина во все времена должен гоняться с копьём за мамонтом и у него должны торчать ребра, а зад обязан быть тощим, как у кролика, в брюках иметь полудетский овальный рисунок.

У Адама в прежних портках зад выглядел как чемодан, и любая мечта споткнется о такое зрелище.

– Тесно, – пожаловался Адам, отодвигая штормку. – Я не смогу сесть.

Инна посмотрела и не поверила своим глазам. Перед ней стоял элегантный господин шведского типа – сильный мира сего, скрывающий свою власть над людьми.

– Оставайтесь так, – распорядилась Инна. Она уже не смирилась бы с обратным возвращением в дедовские штаны и неприталенную рубаху, которая пузырилась под поясом.

Она взяла вешалку, повесила на нее брюки пятидесятого размера, пиджак сорок восьмого. Отнесла на кронштейн.

– Идите платить, – сказала она.

– Наверное, надо предупредить продавщицу, – предположил Адам.

– О чем?

– О том, что мы разрознили костюм. Что он не парный...

– И как вы думаете, что она вам ответит? – поинтересовалась Инна.

– Кто?

– Продавщица. Что она вам скажет?

– Не знаю.

– А я знаю. Она скажет, чтобы вы повесили все, как было.

– И что?

– Ничего. Останется без костюма.

Адам промолчал.

– У вас нестандартная фигура: плечи – пятьдесят, а бедра – сорок восемь. Мы так и купили. Я не понимаю, что вас не устраивает? Вы хотите иметь широкие штаны или узкий пиджак?

– Да, но придет следующий покупатель, со стандартной фигурой, и останется без костюма. Нельзя же думать только о себе.

– А чем вы хуже следующего покупателя? Почему у него должен быть костюм, а у вас нет?

Адам был поставлен в тупик такой постановкой вопроса. Честно сказать, в самой-самой глубине души он считал себя хуже следующего покупателя. Все люди казались ему лучше, чем он сам. И еще одно обстоятельство: Адам не умел быть счастливым за чей-то счет, в том числе за счет следующего покупателя.

– Ну, я не знаю... – растерянно сказал Адам.

– А я знаю. Вы любите создавать себе трудности, – определила Инна. – Вас хлебом не корми – дай пострадать.

Она взяла Адама за руку и подвела к кассе.

– Сто шестьдесят рублей, – сказала кассирша.

Адам достал деньги, отдал кассирше. Та пересчитала их и бросила в свой ящичек, разгороженный для разных купюр. И все это время у Адама было чувство, будто он идет через контрольный пост с фальшивыми документами.

Инна отошла к продавцу и протянула старую одежду Адама:

– Заверните.

Продавец ловко запаковал, перевязал шпагатиком и вручил сверток.

Вышли на улицу.

Возле магазина был небольшой базар. Старухи в черном продавали яблоки в корзинах и астры в ведрах.

Увидев Адама и Инну, они притихли, как бы наполнились уважением. Инна посмотрела на своего спутника – со стороны, глазами старух – и тоже наполнилась уважением. А уважение – самый необходимый компонент для пирога любви.

– Потрясающе... – обрадовалась Инна, услышав в себе этот необходимый компонент.

– Да? – Адам осветился радостью и тут же забыл свои недавние сомнения относительно следующего покупателя.

«А в самом деле, – подумал он, – почему не я?» Он давно хотел иметь хороший костюм, но все время почему-то откладывал на потом. Хотя почему «потом» лучше, чем «сейчас»? Наверняка хуже. «Потом» человек бывает старше и равнодушнее ко всему. В жизни надо все получать своевременно.

– Maintenant, – проговорил Адам.

– Что? – не поняла Инна.

– Maintenant по-французски – это «сейчас».

Инна остановилась и внимательно посмотрела на Адама. Она тоже ничего не хотела ждать. Она хотела быть счастливой сегодня. Сейчас. Сию минуту.

Адам подошел к старухе и купил у нее цветы. Астры были с блохами, а с повядших стеблей капала вода.

Инна оглядела цветы, вернула их бабке, востребовала деньги обратно и купила на них яблоки у соседней старухи. Когда они отошли, Адам сказал, смущаясь замечания:

– По-моему, это неприлично.

– А продавать такие цветы прилично? – Инна посмотрела на него наивными зелеными глазами.

«И в самом деле», – усомнился Адам.

По вечерам в санатории показывали кино. Фильмы были преимущественно о любви, и преимущественно плохие. Похоже, их создатели не догадывались, зачем мир расколот на два

пола – мужчин и женщин. И не помнили наверняка, как люди размножаются – может быть, отводками и черенками, как деревья.

Однако все отдыхающие шли в просмотровый зал, садились и переждали кино от начала до конца, как пережидают беседу с занудливым собеседником. С той разницей, что от собеседника уйти неудобно, а с фильма – можно.

Инна и Адам садились рядом и смотрели до конца, не потому что их интересовала вялая лента, а чтобы посидеть вместе. Инна все время ждала, что Адам проявит какие-то знаки заинтересованности и коснется локтем локтя или мизинца мизинцем. Но Адам сидел как истукан, глядел перед собой с обалделым видом и не смел коснуться даже мизинцем. Инна догадывалась, что все так и будет продолжаться и придется брать инициативу в свои руки. Такого в ее небогатой практике не встречалось. Адам был исключением из правила. Как правило, Инна находилась в состоянии активной обороны, потому что не хотела быть случайной ни в чьей жизни. Пусть даже самой достойной.

В понедельник киномеханик был выходной. Отдыхающие уселись перед телевизором, а Инна и Адам отправились пешком в соседнюю деревню. В клуб.

В клубе кино отменили. В этот день проходил показательный процесс выездного суда. Инна выяснила: истопник пионерского лагеря «Ромашка» убил истопника санатория «Березка». Оба истопника из этой деревни, поэтому именно здесь, в клубе, решено было провести показательный суд в целях педагогических и профилактических.

Деревня состояла из одной улицы, и вся улица собралась в клуб. Народу набралось довольно много, но свободные места просматривались. Инна и Адам забрались в уголок, приобшились к зрелищу. Скорбному театру.

За длинным столом лицом к залу сидел судья, черноволосый, с низким лбом, плотный и идейно добротный. По бокам от него – народные заседатели, женщины со сложными немодными прическами и в кримпленовых костюмах.

На первом ряду, спиной к залу, среди двух милиционеров сидел подсудимый, истопник «Ромашки».

– А милиционеры зачем? – тихо спросила Инна.

– Мало ли... – неопределенно отозвался Адам.

– Что?

– Мало ли что ему в голову взбредет.

Инна внимательно посмотрела на «Ромашку» и поняла: ему ничего в голову не взбредет. «Ромашка» был мелок, худ, как подросток, невзрачен, с каким-то стертým лицом, на котором читались явные признаки вырождения. Чувствовалось, что его род пришел к окончательному биологическому упадку, и следовало бы запретить ему дальше размножаться в интересах охраны природы. Однако выяснилось, что у обвиняемого двое детей, которые его любят. А он любит их...

Судья попросил рассказать «Ромашку», как было дело. Как это все произошло.

«Ромашка» начал рассказывать о том, что утром он подошел к «шестерке» за бутылкой и встретил там «Березку».

– Какая шестерка? – не понял судья.

«Ромашка» объяснил, что «шестерка» – это сельмаг № 6, который стоит на их улице и сокращенно называется «шестерка».

Судья кивнул головой, показывая кивком, что он понял и удовлетворен ответом.

... «Березка» подошел к «Ромашке» и положил ему на лицо ладонь с растопыренными пальцами. («Ромашка» показал, как это выглядело, положив свою ладонь на свое лицо.)

Он положил ладонь на лицо и толкнул «Ромашку» – так, что тот полетел в грязь.

По показаниям свидетелей, потерпевший «Березка» имел двухметровый почти рост и весил сто шестнадцать килограмм. Так что «Ромашка» был величиной с одну «Березкину» ногу. И наверняка от незначительного толчка летел далеко и долго.

– Дальше, – потребовал судья.

– Дальше я купил бутылку и пошел домой, – продолжал «Ромашка».

Он нервничал до озноба, однако, чувствуя внимание к себе зала, испытывал, как показалось Инне, что-то похожее на вдохновение. Он иногда криво и немножко высокомерно усмехался. И зал внимал.

– А потом днем я опять пришел к «шестерке». Сел на лавку.

– Зачем? – спросил судья.

– Что «зачем»? Сел или пришел?

– Зачем пришел? – уточнил судья.

– За бутылкой.

– Так вы же уже взяли утром, – напомнил судья.

«Ромашка» посмотрел на судью, не понимая замечания.

– Ну да, взял... – согласился он.

– Куда же вы ее дели?

– Так выпил... – удивился «Ромашка».

– С утра? – в свою очередь удивился судья.

– Ну да! – еще больше удивился «Ромашка», не понимая, чего тут можно не понять.

– Дальше, – попросил судья.

– Я, значит, сижу, а он подошел, сел рядом со мной и спихнул. Вот так. – «Ромашка» дернул бедром. – Я упал в грязь.

«Ромашка» замолчал обиженно, углубляясь в прошлое унижение.

– Ну а дальше?

– Я пошел домой. Взял нож. Высунулся в окно и позвал: «Коль...» Он пошел ко мне. Я встал за дверями. Он постучал. Я открыл и сунул в него нож. Он ухватился за живот и пошел обратно. И сел на лавку. А потом лег на лавку.

«Ромашка» замолчал.

– А потом? – спросил судья.

– А потом помер, – ответил «Ромашка», подняв брови.

Медицинская экспертиза показала, что нож попал в крупную артерию и потерпевший умер в течение десяти минут от внутреннего кровотечения.

– Вы хотели его убить или это случилось случайно? – спросил судья.

– Конечно, хотел. – «Ромашка» нервно дернул лицом.

– Может быть, вы хотели его только напугать? – мягко, но настойчиво спросила женщина-заседатель, как бы наводя «Ромашку» на нужный ответ.

Если бы «Ромашка» публично раскаялся и сказал, что не хотел убийства, что все случилось случайно, он судился бы по другой статье и получил другие сроки.

– Нет! – отрезал «Ромашка». – Я б его все равно убил!

– Почему? – спросил судья.

– Он меня третировал.

Чувствовалось, что слово «третировал» «Ромашка» приготовил заранее.

Зал зашумел, заволновался, как рожь на ветру. Это был ропот подтверждения. Да, «Березка» третировал «Ромашку», и тот убил его потому, что не видел для себя иного выхода. Драться с ним он не мог – слишком слаб. Спорить тоже не мог – слишком глуп. Избегать – не получалось, деревня состояла из одной улицы. Он мог его только уничтожить.

– Садитесь, – сказал судья.

«Ромашка» сел, и над залом нависли его волнение, беспомощность и ненависть к умершему. Даже сейчас, за гробом.

Судья приступил к допросу «Березкиной» жены. Вернее, вдовы.

Поднялась молодая рослая женщина Тоня, с гладкой темноволосой головой и большими прекрасными глазами. Инна подумала, что, если ее одеть, она была бы уместна в любом обществе.

– Ваш муж был пьяница? – спросил судья.

– Пил, – ответила Тоня.

– А это правда, что в пьяном виде он выгонял вас босиком на снег?

– Было, – с неудовольствием ответила Тоня. – Ну и что?

То обстоятельство, что ее муж пил и дрался, не было достаточной причиной, чтобы его убили. А судья, как ей казалось, спрашивал таким образом, будто хотел скомпрометировать умершего. Дескать, невелика потеря.

– Обвиняемый ходил к вам в дом?

– Заходил иногда.

– Зачем?

Судья хотел исключить или, наоборот, обнаружить любовный треугольник. Поискать причину убийства в ревности.

– Не помню.

Она действительно не помнила, зачем один заходил к другому. Может быть, поговорить об общем деле, все-таки они были коллеги. Истопники. Но скорее всего – за деньгами на бутылку.

– Когда он к вам приходил, вы с ним разговаривали?

– Может, и разговаривала. А что?

Тоня не понимала, какое это имело отношение к делу: приходил или не приходил, разговаривала или не разговаривала?

Судья посмотрел на статную, почти прекрасную Тоню, на «Ромашку» – и не смог объединить их даже подозрением.

– Вы хотите подсудимому высшей меры? – спросил судья.

– Как суд решит, так пусть и будет, – ответила Тоня, и ее глаза впервые наполнились слезами.

Она не хотела мстить, но не могла и простить.

– Озорной был... – шепнула Инне сидящая рядом старуха. – Что с его ишло...

Сочувствие старухи принадлежало «Ромашке», потому что «Ромашка» был слабый, почти ущербный. И потому, что «Березку» жалеть было поздно.

Инна внимательно поглядела на старуху и вдруг представила себе «Березку» – озорного и двухметрового, не знающего, куда девать свои двадцать девять лет и два метра. Ему было тесно на этой улице, с «шестеркой» в конце улицы и лавкой перед «шестеркой». На этой лавке разыгрывались все деревенские празднества и драмы. И умер на этой лавке.

– Садитесь, – разрешил судья.

Тоня села, плача, опустив голову.

Стали опрашивать свидетелей.

Вышла соседка подсудимого – баба в ситцевом халате, с прической двадцатилетней давности, которую Инна помнила у матери. Она встала вполоборота, чтобы было слышно и судье, и залу. Принялась рассказывать:

– Я, значит, побежала утречком, набрала грибов в целлофановый мешок. Отварила в соленой водичке, скинула на дуршлаг. Собралась пожарить с лучком. Говорю: «Вась, сбегай за бутылкой...»

– Опять бутылка! – возмутился судья. – Что вы все: бутылка да бутылка... Вы что, без бутылки жить не можете?

Свидетельница замолчала, уставилась на судью. Челюсть у нее слегка отвисла, а глазки стали круглые и удивленные, как у медведика. Она не понимала его неудовольствия, а судья не понимал, чего она не понимает.

Повисла пауза.

– Рассказывайте дальше, – махнул рукой судья.

– Ну вот. А потом он забежал на кухню, взял нож. А дальше я не видела. Потом захожу к нему в комнату, а он под кроватью сидит...

Судья развернул тряпку и достал нож, который лежал тут же на столе как вещественное доказательство. Нож был громадный, с черной пластмассовой ручкой. Зал замер.

– Да... – Судья покачал головой. – С таким тесаком только на кабана ходить.

И преступление выпрямилось во весь рост.

«Ромашке» дали одиннадцать лет строгого режима. Он выслушал приговор с кривой усмешкой.

Судья испытывал к «Ромашке» брезгливое пренебрежение. А женщины-заседатели смотрели на него со сложным выражением. Они знали, что` стоит за словами «строгий режим», и смотрели на него как бы через это знание. А «Ромашка» не знал, и ему предстоял путь, о котором он даже не догадывался.

Суд кончился.

«Ромашку» посадили в машину и увезли. Все разбрелись с отягощенными душами.

Инна и Адам пошли в санаторий.

Дорога лежала через поле.

Солнце скатилось к горизонту, было огромное, объемно-круглое, уставшее. Инна подумала, что днем солнце бывает цвета пламени, а вечером – цвета тлеющих углей. Значит, и солнце устает к концу дня, как человек к концу жизни.

Вдоль дороги покачивались цветы и травы: клевер, метелки, кашка, и каждая травинка была нужна. Например, коровам и пчелам. Для молока и меда. Все необходимо и связано в круговороте природы. И волки нужны – как санитары леса, и мыши нужны – корм для мелких хищников. А для чего нужны эти две молодые жизни – Коли и Васи? Один – уже в земле. Другой хоть и жив, но тоже погиб, и если нет «иной жизни», о чем тоскливо беспокоилась клоунесса, значит, они пропали безвозвратно и навсегда. А ведь зачем-то родились и жили. Могли бы давать тепло – ведь они истопники.

Кто всем этим распоряжается? И почему «он» или «оно» ТАК распорядилось?..

Вошли в лес. Стало сумеречно и прохладно.

Инна остановилась и посмотрела на Адама. В ее глазах стояла затравленность.

– Мне страшно, – сказала она. – Я боюсь...

Ему захотелось обнять ее, но он не смел. Инна сама шагнула к нему и уткнулась лицом в его лицо. От него изумительно ничем не пахло, как ничем не пахнет морозное утро или ствол дерева.

Инна положила руки ему на плечи и прижала к себе, будто объединяя его и себя в общую молекулу.

Что такое водород или кислород? Газ. Эфемерность. Ничто. А вместе – это уже молекула воды. Качественно новое соединение.

Инне хотелось перейти в качественно новое соединение, чтобы не было так неустойчиво в этом мире под уставшим солнцем.

Адам обнял ее руками, ставшими вдруг сильными. Они стояли среди деревьев, ошеломленные близостью и однородностью. Кровь билась в них гулко и одинаково. И вдруг совсем неожиданно и некстати в ее сознании всплыло лицо того, которого она любила. Он смотрел на

нее, усмехаясь презрительно и самолюбиво, как бы говорил: «Эх ты...» «Так тебе и надо», – мысленно ответила ему Инна и закрыла глаза.

– Адам... – тихо позвала Инна.

Он не отозвался.

– Адам!

Он, не просыпаясь, застонал от нежности. Нежность стояла у самого горла.

– Я не могу заснуть. Я не умею спать вдвоем.

– А?

Адам открыл глаза. В комнате было уже светло. Тень от рамы крестом лежала на стене.

– Ты иди... Иди к себе, – попросила Инна.

Он не мог встать. Но не мог и послушаться. Она сказала: иди. Значит, надо идти.

Адам поднялся, стал натягивать на себя новый костюм, который был ему неудобен. Инна наблюдала сквозь полуприкрытые ресницы. Из окна лился серый свет, Адам казался весь дымчато-серебристо-серый. У него были красивые руки и движения, и по тому, как он застегивал пуговицы на рубашке, просматривалось, что когда-то он был маленький и его любила мама. Инна улыбнулась и поплыла в сон. Сквозь сон слышала, как хлопнула одна дверь, потом другая. Ощутила свободу, которую любила так же, как жизнь, и, засыпая, улыбнулась свободе. Провела ладонью по плечу, с удивлением отмечая, что и ладонь, и плечо – не прежние, а другие. Раньше она не замечала своего тела, оно имело как бы рабочее значение: ноги – ходить, руки – работать. Но оказывается, все это, вплоть до каждой реснички, может существовать как отдельные живые существа и необходимо не только тебе. Гораздо больше, чем тебе, это необходимо другому человеку. Инна заснула с уверенностью, что она всеильна и прекрасна. Ощутила себя нормально, ибо это и есть норма – слышать себя всеильной и прекрасной. А все остальное – отклонение от нормы.

Птицы молчали, значит, солнце еще не встало.

Облака бежали быстро, были перистые и низкие.

Цвела сирень. Гроздья даже по виду были тугие и прохладные. Адам посмотрел на небо, его глаза наполнились слезами. Он заплакал по жене. Ему бесконечно жаль стало свою Светлану Алексеевну, с которой прожил двадцать лет и которая была порядочным человеком. Это очень ценно само по себе – иметь дело с порядочным человеком, но, как оказалось, в определенной ситуации это не имело ровно никакого значения. Он понимал, что должен уйти от нее, а значит, нанести ей реальное зло.

Адам пошел по аллее к своему корпусу. Деревья тянулись к небу, ели – сплошные, а березы – ажурные. Одна береза лежала поваленная, с выкорчеванными корнями. Корни переплелись, как головы звероящера. У одной головы болел зуб и корень-рука подпирает корень-щеку. «Инна», – подумал Адам.

Пробежал ежик. Он комочком перекатился через дорогу и нырнул в высокую траву. «Инна», – подумал Адам.

Все живое и неживое слилось у него в единственное понятие: Инна.

Облака бежали, бежали, бежали... Адам остановился, вбирая глазами небо и землю, испытывал гордый человеческий настрой души, какого он не испытывал никогда прежде. Он был как никогда счастлив и как никогда несчастен.

На завтрак Инна пришла позже обычного. Адам ждал ее за столом.

Она волновалась – как они встретятся, что скажут друг другу. Тот человек, которого она любила, умел сделать вид, что ничего не случилось. И так у него это ловко выходило, что Инна и сама, помнится, усомнилась. И засматривала в его безмятежное лицо.

Инна подходила к столу – прямая и независимая, на всякий случай, если понадобится независимость. Адам поднялся ей навстречу. Они стояли друг против друга и смотрели, молча – глаза в глаза, и это продолжалось долго, почти бесконечно. Со стороны было похоже, будто они глядят на спор: кто дольше?

Кто-то очень умный, кажется даже царь Соломон, сказал о любви: тайна сия велика есть. Тайна – это то, чего не знаешь. Когда-то вода тоже была тайной, а теперь вода – это две молекулы водорода и одна кислорода. Так и любовь. Сейчас это тайна. А когда-нибудь выяснится: валентность души одного человека точно совпадает с валентностью другого и две души образуют качественно новую духовную молекулу.

Адам и Инна стояли и не могли снять глаз друг с друга, и сердце стучало, потому что шла цепная реакция, объединяющая души в Любовь.

– Панкратов! К телефону! – крикнула уборщица тренированным горлом.

– Это меня, – сказал Адам.

– Кто? – испугалась Инна. Ей показалось, он сейчас уйдет и никогда не вернется, и душа снова останется неприкаянной, как детдомовское дитя.

– Не знаю.

– Панкратов! – снова гаркнула уборщица.

– Я сейчас, – пообещал он и пошел.

Инна села на стул и опустила глаза в тарелку.

– Можно, я у вас спрошу? – обратилась клоунесса. Она не начала сразу, с вопроса, который хотела задать, а как бы деликатно постучалась в Инну.

Инна подняла глаза.

– Мне сегодня снилось, будто меня кусала кошка.

– Больно? – спросила Инна.

– Ужасно. Она сцепила зубы на моей руке, и я просто не знала, что мне делать. Я боялась, что она мне выкусит кусок.

– Надо было зажать ей нос, – предложил завязавший алкоголик.

– Зачем?

– Ей нечем стало бы дышать, и она разжала бы зубы.

– Я не догадалась. – Клоунесса подняла брови.

– Между прочим, я тоже ужасно боюсь кошек, – сказала жена алкоголика. – Вот я иду мимо них и никогда не знаю, что у них на уме.

Вернулся Адам. Он сел за стол и начал есть.

– Это очень хороший сон, – сказала Инна. Она сказала то, что клоунесса хотела от нее услышать.

Людям совершенно не обязательно заранее знать плохую правду. Плохая правда придет сама и о себе заявит. Людям надо подкармливать надежду.

Клоунесса радостно закивала, поверила, что кусающая кошка – вестник прекрасных перемен.

– Жена? – тихо спросила Инна.

Он кивнул.

– Ты уезжаешь?

Он кивнул.

– Навсегда?

– На полдня. Туда и обратно.

Адам поднял глаза на Инну, и она увидела в них, что цепная реакция его души уже совершилась и никакие звонки не в состоянии ее расщепить. Инна хотела улыбнуться, но сморщилась. Она устала.

– Жена уезжает в командировку. Некуда девать собаку. Она попросила, чтобы я ее забрал.

– А как ее зовут? – спросила Инна.

– Кого? Жену?

– Собаку.

– Радда... Она все время радовалась. Мы ее так назвали.

– Глупая, что ли?

– Почему глупая?

– А почему все время радовалась?

– Оттого что умная. Для радости найти причины гораздо сложнее, чем для печали. Люди любят себя, поэтому им все время чего-то для себя не хватает. И они страдают. А собаки любят хозяев и постоянно радуются своей любви.

– Я тебя провожу, – сказала Инна.

– Проводишь и встретишь.

Адам вернулся к вечеру и повел Инну в деревню Манино – ту самую, где шел суд.

Держать собаку в санатории категорически запретили. Адам договорился со старушкой из крайнего дома, и она за пустяковую цену сдала Радде пустую конуру. Радда без хозяина остаться не пожелала, она так взвыла, что пришлось Адаму поселиться у той же старушки. Он решил, что будет кормиться в санатории, а жить в деревне.

– А какой она породы? – спросила Инна.

– Шотландский сеттер.

Инна в породах не разбиралась и не представляла себе, как выглядит шотландский сеттер, однако оба этих слова ей понравились. За словом «шотландский» стояло нечто еще более иностранное, чем «английский». За этим словом брезжили молчаливые блондины в коротких клетчатых юбках.

Дорога шла через овраг. На дне оврага стучал по камешкам ручей. Через него лежали деревянные мостки с деревянными перилами. «Как в Шотландии», – подумала Инна, хотя овраг с ручейком и мостиком мог быть в любой части света. Кроме Африки. А может, и в Африке.

– А она красивая? – спросила Инна.

– Она очень красивая, – с убеждением сказал Адам. – Она тебе понравится. Она не может не понравиться.

Он открыл калитку, сбросив с нее веревочную петлю, и вошел во двор. Большая тяжелая собака, улыбаясь всей пастью и размахивая хвостом, устремилась навстречу. Она подняла к Инне морду с выражением: «Ну, что будем делать? Я согласна на все», и Инна увидела, что ее правый глаз затянут плотным сплошным бельмом и напоминает крутое яйцо. Вокруг смеющейся пасти – седая щетина, а розовый живот болтается как тряпка...

– Она старая? – догадалась Инна.

– Ага, – беспечно сказал Адам. – Ей шестнадцать лет.

– А сколько живут собаки?

– Пятнадцать.

– Значит, ей сто десять лет? – спросила Инна. – Она у тебя долгожитель?

Адам тихо, счастливо улыбался, поскольку присутствовал при встрече самых родных и необходимых ему существ.

Из дома вышла старуха и высыпала в траву собачий ужин: остатки каши и размолоченный хлеб. Радда обнюхала и с недоумением поглядела на хозяина.

– Ешь, – приказал Адам. – Ты не дома.

Радда стала послушно есть, и такая покорность была почему-то неприятна Инне. Она поняла, что старая собака будет жрать все, абсолютно все, без исключения, если хозяин прикажет: ешь.

Радда покончила с ужином и угодливо обнюхала каждую травинку, проверяя, не осталось ли чего, и посмотрела на Адама, ожидая похвалы.

– Пошли погуляем, – предложил Адам.

Вышли на дорогу. Собака побежала впереди. Инна обратила внимание, что она не останавливается для малой нужды, как все собаки, а продолжает идти на чуть согнутых и чуть раскоряченных ногах, не прерывая своего занятия. Видимо, ей было жалко тратить на это время. Собака знакомилась со всем, что встречалось ей на дороге: обрывки газет, деревенские собаки, редкие прохожие. Подбегая к людям, она прежде всего обнюхивала конец живота, отчего люди конфузились, смущенно взглядывали на Адама и Инну, и у Инны было такое чувство, будто она участвует в чем-то малопрстойном.

– Радда! Фу! – прикрикивал Адам низковатым скрипучим голосом. В раздражении его голос как бы терял соки и становился необаятельным. И можно было себе представить, каков он в раздражении.

– Пойдем на речку, – попросила Инна.

Адам открыл дверцы машины. Радда тут же привычным движением вскочила на переднее сиденье.

– А ну убирайся! – приказал Адам, но Радда и ухом не повела. Ей хотелось быть как можно ближе к хозяину, и она умела не слышать то, что ей не хотелось слышать.

– Ее надо вымыть, – заметила Инна тускло.

– Разве? – удивился Адам, отмечая тусклость ее голоса и теряясь.

– А ты не чувствуешь?

Дорога к реке и река были прежними, но Инна не могла пробиться к прежней радости. Ей что-то мешало, но что именно – она не могла определить.

Радде не мешало ничего. Выскочив из машины на берег, она пришла в неописуемый восторг. Она разоглась и влетела в воду, поплавала там по-собачьи, приподняв нос над водой, потом выскочила на берег, сильно стряхнулась, и брызги веером полетели на Инну, и в каждой капле отражались все семь цветов светового спектра.

– Убери ее, – тихо и определенно попросила Инна.

Убрать собаку, а самому остаться возле Инны было практически невозможно. Собаку можно было убрать только вместе с собой.

Адам разделся, взял собаку за ошейник и пошел вместе с ней в воду. Инна сидела на берегу, насупившись, и наблюдала, как он выдал на ладонь полтюбика шампуня и стал мыть собаку. Инна подумала, что этими же руками он обнимет ее вечером, и насупилась еще больше. Освободившись от хозяина, собака выскочила на берег, опрокинулась на спину и стала кататься по земле, как бы назло: дескать, ты меня мыл, а я сейчас запачкаюсь.

– Фу! – сказал Адам, выходя.

Инна не поняла – почему «фу», посмотрела внимательнее и увидела, что собака катается по засохшим коровьим лепешкам.

– Убери ее! – снова потребовала Инна.

– Она что, тебе мешает? – заподозрил Адам.

Инна внимательно посмотрела на Адама и вдруг увидела, что они похожи со своей собакой: та же седая желтизна, то же выражение естественности на длинном лице. И то же упрямство. Чем бы их желания ни были продиктованы, пусть даже самыми благородными намерениями, но они всегда делали так, как хотели, – и Радда, и Адам. Эта собачья преданность была прежде всего преданностью себе.

– Да, – сказала Инна. – Мешает.

– Тогда как же мы будем жить?

– Где? – не поняла Инна.

– В Москве. У тебя. Я же не смогу ее бросить. Я должен буду взять ее с собой.

– Кого? – растерялась Инна.

– Собаку, кого же еще...

Это было официальное предложение. И все остальное теперь зависело только от нее. Значит, не зря она приехала в санаторий и так дорого заплатила за путевку и за подарок той тетке, которая эту путевку доставала.

– Ты еще сам не переехал, – растерянно сказала Инна. – А уже собаку свою тащишь...

Решено было, что стены прихожей они обошьют деревом, а спальню обтянут ситцем, и тогда спальня будет походить на шкатулку. А гостиную они оклеят нормальными обоями, но изнаночной стороной. И гостиная будет белая. Она видела такую гостиную в доме у иностранцев. Книжных полок решили не покупать, а сделать стеллажи из настоящих кирпичей и настоящих досок. На кирпичи положить доски и укрепить, чтобы не рассыпались. Такое она видела в иностранном журнале. Было решено – никаких гарнитуров, никакого мещанства. Основной принцип – рукоделие, то есть дело рук, а значит, и творчества.

Еще было решено, что вить гнездо они начнут после того, как Адам разведется с женой и официально распишется с Инной. Можно было бы принять другой план: сначала съехаться и обитать спальню ситцем, а потом уже разводиться и расписываться. Но Инна боялась, что, если согласится на этот план, Адам начнет тянуть с разводом и в конце концов захочет сохранить обеих женщин, как это сделал тот человек, которого она любила. Потому что в каждой женщине есть то, чего нет в другой.

Срок пребывания в санатории подходил к концу. Они каждый день гуляли втроем: Адам, Инна и Радда, и каждый раз выбирали новые маршруты, чтобы разнообразить впечатления. Адам в угоду Инне орал на собаку, но собака не обижалась. Для нее было главное, чтобы хозяин находился рядом. Когда он уходил и оставлял собаку одну, в ней образовывалось чувство, похожее на голод, с той разницей, что голод она могла терпеть, а этот, душевный, голод – нет. Каждая секунда протягивалась в бесконечность, и в этой бесконечности сердце набухало болью и работало как бы вхолостую, без крови, и клапана перетирались друг о друга. И собаке казалось: если это состояние не кончится, она взбесится. И тогда она начинала рыдать в конуре. Выходила старуха и что-то говорила, но Радда не слышала ее сквозь отчаяние. Потом возвращался хозяин, и сердце сразу наполнялось горячей кровью и все успокаивалось внутри.

Адам любил свою собаку, но в присутствии Инны он стеснялся и даже боялся это обнаружить. Он испытывал к Инне то же самое, что Радда к нему. В отсутствие Инны он слышал в себе тот же самый душевный голод и также трудно его переносил. Инна понимала это и догадывалась, что, если она скажет: «Адам!» – и бросит палку в кусты, он тут же помчится со всех ног, путаясь в ногах, и принесет ей эту палку в зубах. И, приподняв лицо, будет ждать, что ему дадут кусочек сахара или поглядят по щеке.

Инна наслаждалась своей властью и временами была почти счастлива, но все же что-то ей мешало. Если бы понять – что именно. И однажды поняла.

Это было в полдень.

Они вышли в поле, похожее на степь, покрытое шелковым ковылем. Радде что-то показалось подозрительным, и она осторожно вошла в ковыль.

– Мышь, – предположил Адам. – Или крот.

Он крикнул какой-то охотничий термин. Радда вся напряглась и забеспокоилась.

– Челноком идет, – сказал Адам, будто Инна что-то в этом понимала.

Собака красиво стелилась по полю. Отсюда было не видно ее бельмастого глаза, высокая трава скрывала дряблый живот. Были видны только узкая породистая морда, темно-коричневая спина и вдохновенный ход гончей собаки.

Адам с любовью и родительской гордостью смотрел на Радду и приглашал глазами Инну разделить его любовь и гордость. И сам в это время был похож на студента, и очки поблескивали на солнце.

– Как молодая, – сказал Адам. И в этот момент Инна отчетливо поняла, что ей мешало. КАК. Собака шла КАК молодая, но она была старая. И то, что случилось у нее с Адамом, – КАК любовь. И даже с официальным предложением и ситцевыми стенами. Но это не любовь. Это желание любви, выдаваемое за любовь. И тот человек, которого она любила, всплыл перед глазами так явственно, будто стоял возле крайней березы. Их отношения последнее время были похожи на боксерский матч – кто кому сильнее врежет. С той разницей, что в боксе сохраняются правила игры, а они без правил, в запрещенные места. И сейчас, уехав в санаторий и присмотрев себе Адама, врезала она. Так, чтоб не встал. Но он встал и стоял возле крайней березы, усмехаясь, вытирая кровь с зубов.

А собака все шла над шелковым ковылем.

А Адам весь светился шурясь.

А Инна стояла – побежденная и глухая от навалившейся пустоты. И все это происходило среди бела дня под радостным полуденным солнцем. И где-то улепетывала от собаки несчастная мышь. Или крот.

Срок Инны заканчивался на неделю раньше, чем у Адама. Но Адам тоже решил прервать отпуск и вернуться в Москву. У него была тысяча дел: разводиться, расписываться, размениваться, разговаривать с начальством. Предстоящий развод несколько тормозил его продвижение по престижной лестнице. Но престижная лестница в его новой системе ценностей не стоила ничего. Полторы копейки. Престиж – это то, что думают о тебе другие люди. А какая разница, что подумают, сидя у себя дома, Кравцов или Селезнев.

Служебные удостоверения, ордена, погоны, бриллианты, деньги – это то, что человек снимает с себя на ночь и кладет на стол или вешает на стул – в том случае, если это китель. А все, что можно снять и положить отдельно от себя, не имело больше для Адама никакого значения. Имело значение только то, с чем он ложился спать: здоровье, спокойная совесть и душевное равновесие. И женщина. А точнее – Любовь. А еще точнее – это дети. Много детей: трое, четверо, пятеро – сколько Бог даст. Он будет водить их в зоопарк, показывать носорога и покупать мороженое. Он построит им дом на зеленой траве, чтобы на участке стояли сосны и росла земляника. Он будет в жаркую погоду ходить босиком по душным сосновым иголкам и спокойно, счастливо стареть. Старость – это тоже большой кусок жизни, и в нем есть свои преимущества, тем более что молодость и зрелость у Адама счастливыми не были и он все время ждал перемен. В молодости они с женой очень долго снимали углы, потом комнаты. Адам привык считать себя временным жильцом, и это ощущение временности невольно ассоциировалось со Светланой.

В Воркуте (Адам ездил туда в командировку) он встречал многих людей, которые приехали за Полярный круг, чтобы заработать денег на лучшую жизнь, а потом вернуться на материк и начать эту лучшую жизнь. Они жили в полярной ночи, зевали от авитаминоза, жмурились от полярных ветров и были по-своему счастливы, однако считали эту жизнь черновым вариантом. Так проходили десять, двадцать и даже тридцать лет. А потом они возвращались на материк и скоро умирали, потому что менять климат после определенного возраста уже нельзя. Организм не может адаптироваться.

Адам решил для себя не ждать больше ни одного дня, уехать на свой материк, обтянуть спальню ситцем и зачать детей, пока не стар. Нет и пятидесяти. Говорят, в этом возрасте создаются самые удачные дети. Еще ни одного гения не произошло от молодого отца.

Поднимаясь по лестнице, Адам мечтал, чтобы Светланы не оказалось дома. Он не представлял себе, как скажет ей о том, что уходит. Это все равно что подойти к родному человеку

и, глядя в глаза, сунуть под ребра нож, как истопник из деревни Манино. И при этом приговаривать: «Ну вот... все... уже не больно. Видишь? А ты боялась...»

Светлана оказалась дома, но у нее сидела подруга Райка. А при постороннем человеке говорить было неудобно. Да и невозможно. Адам ненавидел эту вымогательницу Райку, она вымогала из Светланы все, что ей удавалось, с искусством опытной попрошайки. Адам даже усвоил ее систему: сначала Райка начинала жаловаться на свою жизнь и приводила такие убедительные доводы, что ее становилось жаль. Потом начинала извиняться за предстоящую просьбу и извинялась так тщательно, что хотелось тут же все для нее сделать. Потом уже шла сама просьба, просьба ложилась на подготовленную почву, и эта дуреха Светлана готова была тут же стащить с себя последнюю рубашку, и если надо – вместе с кожей. Может, и кожа пригодится для пересадки.

– У тебя нет пятидесяти рублей? – шепотом спросила Светлана, оглядываясь на комнату.

– Сначала надо сказать «здравствуй», – посоветовал Адам и подумал при этом, что вот он бросит Светлану, и эта Райка растащит ее по частям, унесет руки и ноги. Заставит сбрить волосы себе на парик и поселит в квартире своих родственников, а Светлану заставит жить в уборной, мыть руки в унитазе.

– Здравствуй. – Светлана осветилась лицом и прижала к себе морду Радды.

Радда постояла, заряжаясь от хозяйки теплом и любовью, а потом тихо пошла на свое место и легла на тюфяк. Она устала от дороги.

– Пятьдесят рублей, – напомнила Светлана.

– Есть, – сказал Адам. – Но я не дам.

– Тише... – Светлана сделала испуганные глаза.

Адам вошел в комнату. Райка сидела среди подушек. Светлана купила в универмаге штук десять подушек и пошила на них синие вельветовые чехлы. На вельвет липли собачьи волосы, которые не брал пылесос, и надо было снимать каждую волосинку отдельно. Каждый раз, когда Светлана пыталась навести уют, это оборачивалось своей противоположностью.

– Вадим, ты прекрасно выглядишь! – искренне восхитилась Райка, вскинув на него крупные наглые глаза.

– Ты тоже, – сказал Вадим, чтобы быть вежливым.

Райка сидела в платье с низким декольте. Она всегда носила низкие декольте, видимо, ей сказали, что у нее красивые шея и грудь. Может быть, когда-то это было действительно красиво, но сейчас Райке шел сорок девятый год, и эти сорок девять лет были заметны всем, кроме нее самой. На вопрос: «Сколько тебе лет?» – она отвечала: «Уже тридцать семь», – и при этом надевала выражение, которое она усвоила в детском саду, – выражение счастливого, незамутненного детства. И такой же голос – под девочку, едва начавшую говорить. И Вадиму всегда хотелось ее спросить: «Девочка, ты не хочешь пи-пи?»

– У него нет денег, – виновато сказала Светлана.

– Есть, – возразил Адам. – Но они мне нужны.

– Я сейчас у соседей попрошу, – смутилась Светлана и пошла из комнаты. Она шла, странно ступая, будто ее ноги были закованы в колодки.

– Что у тебя с ногами? – спросил Адам.

– Она мои туфли изнашивает, – ответила Райка. – Я купила, а они мне малы.

– Так ей они тем более малы. У нее же нога больше.

– Потому она и изнашивает.

Адам решил не продолжать разговор. Они с Райкой существовали каждый на своей колокольне и не понимали друг друга. Адам думал о Светлане, а Райка – о туфлях.

– Как у тебя настроение? – участливо спросила Райка.

Адам глянул на нее, и ему показалось, что, если он пожалуется на настроение, Райка тут же предложит его исправить. По отношению к Светлане она была не только вымогательница, но и предательница. Светлана совершенно не разбиралась в людях, вернее, из всех людей она предпочитала тех, с кем бы можно было делиться собой и они бы в этом нуждались. Но дружба – процесс двусторонний. Светлана мирилась с односторонностью и, сталкиваясь со злом, только удивлялась и недоумевала. Как Радда. У них были одинаковые характеры.

– У меня все в порядке, – сказал Адам, глядя на свои руки, чтобы не смотреть на Райку. – А ты как?

– Я? Банкрот.

– То есть?

– Ждала у моря погоды и осталась у разбитого корыта.

– Почему?

– Потому что я всегда искала звезд. А их нет.

То есть «звезды» при ближайшем рассмотрении оказались обычными пьющими мужиками, но с фанатериями и дурным характером.

– Тебе сейчас сколько лет? – спросил Вадим.

– Тридцать семь уже. – Райка всхлопнула ресницами, и уголки ее губ летуче вспорхнули вверх.

Вошла Светлана и тут же села, не в силах стоять на ногах. Ее ступни вспухли и наплывали на туфли подушками. От всего ее облика исходило изнурение.

– Голодает, – сказала Райка. – Идиотка.

– Ты голодаешь? – спросил Адам.

Светлана начиталась переводной литературы о пользе голодания и время от времени приносила своему организму реальную пользу.

– Сегодня на соках, – ответила Светлана.

– Она уже четыре дня на соках, – уточнила Райка. – Потом четыре дня будет пить зеленый чай с медом. Потом четыре дня есть протертую пищу. А потом ты отвезешь ее в крематорий.

– Вот деньги. – Светлана протянула деньги одной бумажкой.

– Я через неделю отдам, – пообещала Райка.

– Не думай об этом. В крайнем случае – я отдам, а ты мне, когда сможешь.

Адам поднялся и пошел на кухню. Светлана вышла следом.

– Сними туфли! – приказал он.

– Почему?

– Потому что тебе больно! Потому что у тебя будет гангрена!

– Это неудобно. Она уйдет, тогда я сниму.

– Я сейчас сам сниму и дам ей туфлей по морде.

– Но что же делать? Они ей малы...

– Пусть отнесет в растяжку в обувную мастерскую.

– Да. Но там наливают воду, и обувь портится.

Светлана тоже стояла на Райкиной колокольне и думала не о своих ногах, а о ее туфлях. Адам смотрел на жену. Она исхудала, и ее глаза светились одухотворенным фанатическим блеском. Лицо она намазала кремом, смешанным с облепиховым маслом, от этого оно было желтым, как у больной.

Адам сел перед ней на корточки и с трудом стащил туфли, они были малы размера на три.

– Прекрати голодать, – попросил Адам.

– Жаль прерывать. Столько мучилась. Только четыре дня осталось.

«Через четыре дня и скажу, – подумал Адам. – А то она просто не выдержит». Решив это, он успокоился, и даже Райка перестала казаться такой зловещей фигурой. Просто несчастная баба со своими приспособлениями.

Адам вернулся в комнату и сказал Райке:

– В каждом проигрыше есть доля выигрыша. И наоборот.

– Ты о чем? – не поняла Райка.

– О разбитом корыте. Может быть, оно было гнилое, это корыто. Тридцать семь лет – еще не вечер.

Райка усмехнулась.

Адам сел на диван в вельветовые подушки. Райка и Светлана стали чирикать какие-то светские сплетни, хотя им правильнее было бы чирикать о внуках. Сплетни Адама не интересовали. Он прикрыл глаза и, как в воду, ухнул в воспоминания.

...Они вернулись после суда. Инна сказала: не уходи... и стала его целовать, целовать, целовать, будто сошла с ума, – каждый палец, каждый ноготь, каждый сустав, и он не мог ее остановить, и ему казалось, что он попал под бешеную летнюю грозу, когда земля смешивается с небом...

Адам сидел, прикрыв глаза. Сердце его сильно стучало, а под ребрами, как брошенная собака, выла тоска.

– Я пойду погуляю с Раддой.

Он взял собаку и пошел звонить в телефон-автомат. Радда неуклюже полезла в телефонную будку, но Адам ее не пустил, отпихнул ногой и плотно прикрыл дверь. Он хотел быть наедине с Инной.

Заныли гудки. Потом он услышал ее голос.

– Это я, – сказал Адам, волнуясь. – Ну, как ты?

– Противно в городе, – сказала Инна.

– В городе очень противно. Я к тебе сейчас приеду. Но я не один.

– А с кем? – удивилась Инна.

– С собакой.

– Не надо.

– Почему?

– Она линяет.

Подошел человек и сильно постучал монетой по стеклу.

– Я тебе перезвоню, – пообещал Адам. Он не мог говорить с Инной, когда ему мешали. Не мог раздваиваться, должен был принадлежать только ей.

Адам вышел из телефонной будки. Радды не было. «Придет, – подумал он, – куда денется...»

Он стоял и ждал, пока поговорит тот, с монетой. Потом подошла женщина. Он переждал и ее, невольно прислушиваясь к разговору. Женщина кричала, что ее муж совершенно не выходит на улицу, гуляет на балконе пятнадцать минут в день. А если выходит из дома – только за водкой, а прогулка сама по себе для него невыносима и вообще невыносимо состояние здоровья. Здоровье он воспринимает как болезнь.

Радда не появлялась. Адам забеспокоился и пошел домой. Дома ее тоже не было. Он снова спустился вниз и пошел к автомату, надеясь, что Радда стоит там и ждет. Но возле автомата ее не было.

Адам пошел дворами, приглядываясь к собакам-одиночкам и собачьим компаниям. Вышел на площадь. Их дом стоял неподалеку от вокзала. Адам подумал вдруг, что ее могли украсть приезжие и увезти на поезде. С тем чтобы охотиться. Шотландские сеттеры – это лучшие охотничьи собаки и на птичьем рынке стоят сто рублей. Он пересек площадь и пошел к пригородным электричкам. Ходил вдоль поездов, толкаясь в толпе, и громко звал: «Радда! Радда!» – и все на него оборачивались.

Потом он снова пересек площадь, вернулся к автомату и стоял не меньше двух часов. Несколько раз он порывался уйти и уже уходил, но снова возвращался и стоял как столб. Часы на вокзале показывали уже одиннадцать вечера.

Адам вошел в будку, набрал номер Инны и сказал:

– У меня пропала собака.

– Тогда приезжай, – сказала Инна.

– Не могу.

– Почему?

– У меня пропала собака.

Они замолчали, и это молчание было исполнено взаимного непонимания. Адам подумал вдруг, что его колокольня, наверное, самая неудобная и прошита сквозняками, потому что никто не хочет лезть на нее вместе с ним.

Вадим проснулся среди ночи, будто кто-то тронул его за плечо. Он выбыл из сна и явственно понял: собаку украли. Кто-то поманил ее, она пошла, потому что еще ни разу за все свои шестнадцать лет не встречалась со злом и даже не представляла, что оно есть на свете. Вадим купил ее недельным щенком, они со Светланой любили ее как дочку. Радда питалась их добротой, любовью и не представляла, что есть другая пища. Они никогда не бросали Радду, никому не доверяли, и если кто-то один ездил в отпуск или в командировку, то другой оставался с собакой. А сейчас она на несколько минут осталась на улице одна, и ее украли. Ее позвали, она пошла. Вадим представил себе, что будет, когда вор увидит, что она старая и почти слепая. Что он сделает с ней? Выгонит? Или убьет? Хорошо, если убьет. А если выгонит? Вадим представил себе свою собаку – слепую и больную, с хроническим заболеванием почек. Он делал ей уколы антибиотиков, и она сама подходила к нему и подставляла ногу под иглу. Вадим представил себе растерянность и недоумение Радды, если ее будут бить. Именно недоумение, потому что она не знала, что это такое.

Вадим резко сел на постели. Он увидел, что Светлана тоже сидит.

– Как это могло случиться? – Она протянула к нему руки, плача, будто желая получить ответ прямо в ладонки. – Как?

«Я вас предал – вот как, – подумал Вадим. – И ее. И тебя».

– Может быть, завтра вернется, – сказал он. – Просто заблудилась.

Ребенок орал, надрывался, а семнадцатилетняя Пескарева преспокойно отправилась в туалет.

– О! Мамаша называется, – осудила Инна. – Ребенок орет, а ей хоть бы что...

– Не привыкла еще, – сказала Ираида. – Сама еще ребенок. Ей в куклы играть.

На посту зазвонил телефон. Ираида сняла трубку, послушала и сказала:

– Тебя.

Инна взяла трубку и побледнела. Кровь отлила от головы, сердце забарахталось, не справляясь. Это был тот человек, которого она любила.

– Когда и где? – спросила Инна. Все остальные вопросы были лишними, тем более что ее ждали грудные дети, которые имели право не ждать.

– Семь, – сказал он. – Телевизионная башня.

«Почему телевизионная башня?» – подумала Инна, отходя к орущему ребенку. А потом вспомнила, что он живет возле ВДНХ и, значит, до телевизионной башни ему удобно добираться. А то, что ей пилить через всю Москву, так это ни при чем. К тому же он передвигается на собственной машине, а она на общественном транспорте.

Инна взяла ребенка на руки. Он был запеленат под грудку, а ручки свободны, и он поджал их, как зайчик. У него была послеродовая желтушка и черные волосики, и он походил

на япончика. Подошла семнадцатилетняя Пескарева, взяла своего япончика, достала полудетскую грудь. Ребенок забеспокоился, дернул личиком вправо – промахнулся мимо соска, потом влево – опять промахнулся и в третий раз попал точно, вцепился. Инна подумала: недолет, перелет, цель. Так же обстреливают с воздуха, и этот военный маневр называется «вилка».

Япончик мощно тянул материнское молоко, постанывая от жадности. Инне вдруг стало пронзительно жаль этого ребеночка и его маленькую маму. Стало жаль всех на свете, и себя среди всех. Она поняла, что из встречи ничего путного не получится. Нечего и ходить.

– Ну, – спросил он с насмешкой. – Отдохнула?

– Отдохнула, – осторожно ответила Инна, пытаясь определить дальнейший ход беседы.

Пока она ехала к нему на трех видах транспорта, все думала, что он ей скажет, и проговаривала про себя варианты. Первый – он скажет: «Я так устал бороться с собой и с тобой. Вся душа испеклась и скукожилась, как обгорелая спичка. Давай больше не будем расставаться ни на секунду. Положим души в любовь. Пусть отмокнут».

Второй: «Привык я к тебе, как собака к палке. Давай поженимся, черт с тобой». Она спросит: «А твои причины?» Он скажет: «Нет причины главнее, чем любовь».

Третий, самый неблагоприятный вариант – он скажет: «Инна, подожди еще четыре месяца». Тогда она с достоинством подождет губы и ответит: «Но не больше ни на минуту». И они отсчитают ровно четыре месяца от сегодняшнего дня, назначат день, час и место. Назначат, когда и где им предстоит встретиться, чтобы больше не расставаться.

– Ну и что? – спросил он. – Нашла себе?

Инна внимательно смотрела в его лицо, пытаясь разгадать по его глазам хотя бы один из вариантов, но беседа шла по какому-то иному логическому ходу. Ни одного из вариантов не предусматривалось. Видимо, его причины были все-таки главнее, чем любовь. И это по-прежнему были его причины, а не ее. Инне захотелось сказать: «Нашла». Тогда он бы спросил: «А зачем же ты пришла?»

Она: «А зачем ты звал?»

Он: «Посмотреть».

Она: «Посмотрел?»

Он: «Посмотрел».

Она: «Ну, пока».

Он: «Пока».

И она уйдет. И чужие старые собаки, размахивая пузом, будут скакать вокруг ее жизни.

– А я и не искала, – ответила Инна.

– А почему так долго думала? – не поверил он.

– Вспоминала.

– Врешь?

– А зачем мне искать? Ты есть у меня.

Дальше он должен был сказать: «Я так устал от разлуки» и т. д. Но он самодовольно сморгнул, как человек, который боялся, что его обворовали, но вот он зажег свет и убедился, что все на месте. Он успокоился, самодовольно сморгнул и предложил:

– Давай посмотрим «Пустыню».

Фильм только что вышел, и там были заняты замечательные артисты. Он включил зажигание и, глядя через плечо, попятил машину. Инна поняла: программа была прежней. Сейчас они пойдут в кино, потом поедут к ней, а потом он пойдет домой. Все как раньше. С той разницей, что раньше она ждала, а сейчас вопрос ожидания был снят с повестки. Новая схема была такая: устраивает – пожалуйста, не устраивает – пожалуйста. Можно было не предполагать и не догадываться, а просто спросить об этом. Но тогда на прямой вопрос она получит

прямой ответ, и после этого оставаться в машине будет невозможно. Надо будет уйти. А она так давно его не видела.

Подъехали к кинотеатру.

– Поди посмотри, что там, – велел он.

Инна вышла из машины и стала подниматься по широкой лестнице к кассам. Захотелось вернуться и спросить: а почему я? Кто из нас двоих мужчина? Вспомнила, как они с Адамом выходили из магазина. Он открыл перед ней дверь. За дверью стоял нетрезвый плюгавый мужичонка, и Адам чуть не снес этого мужичонку с поверхности земли.

– Осторожно... – сказала Инна.

– Пусть он сам осторожно, – возразил Адам. – Идет королева.

А тут королева пилит через всю Москву на трех видах транспорта, теперь бежит к кассам, потом повезет его к себе домой, будет утешать, шептать на ухо, сколько он достоинств в себе совмещает. И это вместо того, чтобы держать возле груди своего собственного япончика...

Сеанс был неподходящий, и фильм шел плохой, хоть и итальянский.

– Вы не скажете, где идет «Пустыня»? – спросила Инна у кассирши.

– Позвоните ноль пять, – предложила кассирша.

Инна нарыла в кармане монету, подошла к автомату и набрала 05. Разумный женский голос тут же отозвался:

– Тринадцатый слушает.

– Скажите, пожалуйста, где идет фильм «Пустыня»? – спросила Инна, дивясь, что женщина под номером «тринадцать» спрашивает и слушает так внимательно и индивидуально, будто находится не на работе, а дома.

– Позвоните, пожалуйста, через десять минут, – интеллигентно попросила женщина, будто действительно была не на работе, а дома, и варила кофе, и боялась, что он убежит.

– Я не могу через десять минут! – крикнула Инна.

Но трубку уже положили.

Инна снова вернулась к кассирше.

– Скажите, пожалуйста, а у вас есть... – Она зашевелила пальцами. – Ну как это... киношное меню?

– Что? – не поняла кассирша.

– Ну... такой листок, где написано, где что идет.

– Обойдите кинотеатр с другой стороны. Там должно быть.

Инна вышла и стала спускаться по лестнице, чтобы обойти кинотеатр. Следом за ней шли два здоровенных парня или молодых мужика.

– Я за три дня побывал в Ереване, Тбилиси и Баку, – сказал один другому.

– Значит, ты не был нигде, – ответил другой. – Ни в Ереване, ни в Тбилиси, ни в Баку.

Правда, девушка?

– Он был в самолете, – сказала Инна и оглянулась на машину. Ей хотелось, чтобы Он увидел ее и увидел, что она нравится и годится на большее, чем на то, чтобы ею забивали недостающие участки в жизни. Как чучело паклей. Но Он не увидел. Он смотрел перед собой. Его лицо было мрачным и сосредоточенным, и Он походил на собственную жертву.

Инна обошла кинотеатр, но афиши не увидела. Она решила, что была невнимательна, и пошла во второй раз, ощупывая глазами стены. И вдруг она поймала себя на том, что кружит, как лошадь в шахте. Мать рассказывала, что в прежние времена в шахтах работали лошади и двигались по кругу десять и двадцать лет. Потом они слепли, но не знали об этом, потому что в шахте все равно темно. А потом их поднимали на землю, но они уже не могли видеть ни неба, ни травы. И, очутившись на земле, начинали ходить по кругу, хотя это было уже не надо. Но иначе они не умели.

Инна сошла с круга, пересекла дорогу и направилась к автобусной остановке. Подошел автобус. Она вошла в него и села на сиденье, которое было выше остальных. Автобус тронулся. Инну стало сильно трясти, и она догадалась, что сиденье располагается на колесе. Она пересела поближе к водителю, но тогда по ногам пахло жаром, видимо, в этом месте была отопительная система.

Инна встала и поехала стоя в полупустом автобусе, держась за ручку. Думала о том человеке, которого она любила. Он, наверное, решит, что Инна стоит в длинной очереди за билетом. Потом ему надоест ждать, Он выйдет из машины и поднимется по лестнице к кассам. Там он спросит у кассирши: «Вы здесь не видели... такую высокую блондинку?»

Потом он обойдет вокруг кинотеатра, вернется в машину, подождет еще немного и поедет домой. А во втором случае, то есть в том случае, если бы Инна не ушла, они вдвоем бы пошли в кино, потом он проторчал бы у Инны, а потом поехал домой. Во всех случаях он возвращался домой, как самолет на аэродром. Полетает и приземлится. Но у самолета – расписание и график, а у этого – свободный полет. У него никто не спрашивает отчета. Он пользуется полной свободой внутри жестоких обязательств. Как орел в зоопарке. Инна вспомнила его мрачное лицо, подумала, что никакой он не орел и не самолет. Несчастный человек. И его причины – действительно очень уважительные причины, и он горит с четырех сторон, как подожженная газета. И он любит ее, Инну, как сейчас говорят: по-своему. Наверное, ту лошадь в шахте тоже любили по-своему, и по-своему сочувствовали, и давали ей с ладони сахар и пряники.

Инна доехала до станции метро, сошла с автобуса и разыскала телефонную будку. Набрала номер Адама. Номер состоял только из четных чисел, легко запоминался, был прост и ясен, как Адам. Запели гудки. У Инны было сейчас состояние, как тогда, в лесу, после суда. Хотелось сказать: «Мне страшно. Спрячь меня. Спаси. Черт с ней, с твоей собакой. Не вечная же она, в конце концов».

В этот день с утра Вадим Панкратов отправился на работу в патентное бюро, но ни на чем не мог сосредоточиться. Он полулежал на стуле в своем кабинете, вытянув ноги, и думал о том, что «депрессия» происходит от слова «пресс». Тяжелый пресс давит на нервы, и они отказываются реагировать на любые раздражители: приятные – вроде встречи с сотрудниками. И неприятные – вроде голода. Вадим не мог ни есть, ни радоваться.

– Что с вами? – заметил Нисневич.

Нисневич – начальник и порядочный человек. Он был разным – таким и другим, но всегда порядочным.

– У вас такой вид, будто случилось несчастье.

– Вы угадали, – сказал Вадим. – У меня несчастье. Пропала собака.

– А... Это я понимаю, – серьезно посочувствовал Нисневич. – У меня у самого в прошлом году кот с балкона упал. Так верите, стыдно сказать, я смерть тещи меньше переживал. Правда, мы жили в разных городах... – как бы извинился Нисневич.

Вадим посидел на работе еще час и отправился домой и, пока шел, вдруг уверовал, что в его отсутствие Радда вернулась домой. Нюх у нее, конечно, ослаб с годами, но все же это – собачий нюх, и Радда уже дома, и Светлана уже вымыла ее в ванной и накормила супом с пельменями и кусочками докторской колбасы. Он придет домой, и они обе его встретят. Вадим представил себе их глаза, когда они его встретят: серые Светланы и рыжие Радды. И ускорил шаги.

Возле своей двери он стоял какое-то время – очень сильно стучало сердце. Потом решил и позвонил. Дверь отворилась в ту же секунду, будто Светлана стояла за дверью. Взметнулись и замерли ее глаза. Вадим увидел в них, что Светлана ждала их вдвоем: его и Радду. Она почти уверовала, что Вадим разыщет собаку и они вернутся вместе. Но Вадим стоял один. И Светлана – одна. Взметнулись и замерли ее глаза. Это взметнулась и замерла

надежда. Надежда повисела в воздухе какое-то мгновение, как всякий подброшенный предмет, и рухнула.

Светлана ничего не сказала, повернулась и пошла на кухню.

Вадим тоже ничего не сказал, прошел в комнату и лег на диван лицом к стене. Депрессия диктовала организму именно эту позу. Он закрыл глаза, чтобы проникало как можно меньше раздражителей, и тут уже увидел взгляд Светланы и понял, что такими одинаковыми взглядами он мог обмениваться только со своей женой и больше ни с одним человеком на всем свете. Они существовали с ней на одной колокольне, и как бы там ни бывало скучно, а иногда и безнадежно, все-таки это была одна колокольня. Вадим подумал, что если бы он ушел от Светланы, то, наверное, через какое-то время вернулся обратно, потому что нельзя надолго уйти от совести. Светлана была не только его человек, она еще сама по себе была порядочным человеком. Бывают, конечно, моменты, когда порядочность не имеет никакого значения. Но это моменты. А в конечном счете – в черные дни, да и в серые, и даже в розовые порядочность – это единственное, что имеет значение. Потому что порядочность – это совесть. А совесть – это Бог. А Вадим – человек верующий.

Вошла Светлана, и в ту же секунду зазвонил телефон. Звонок был частый, требовательный, похожий на междугородный. Вадим почувствовал, что это Инна.

– Скажи, что меня нет дома, – попросил Вадим.

Светлана сняла трубку и обернулась к Вадиму:

– Тебя...

– Я же просил.

– Ну, я не могу...

Светлана не умела врать физически. Для нее соврать – все равно что произнести фразу на каком-нибудь полинезийском языке, которого она не только не знала, но никогда не слышала.

Вадим встал и взял трубку,

– Адам... – позвала Инна.

Он молчал. Не из-за Светланы. Из-за Радды. Инна не любила собаку, и она устранилась. Развязала ему руки. И сейчас общаться с Инной как ни в чем не бывало – значит предать не только Радду, но и память о ней.

– Адам...

– Здесь таких нет. Вы не туда попали.

Он положил трубку.

– Какого-то Адама...

Вадим снова лег на диван и закрыл глаза. И увидел: бежали, бежали, бежали низкие облака. Вдоль дороги лежал печальный звероящер, и корень-рука подпирала корень-щеку.

Инна вышла из телефонной будки и направилась через дорогу. На середине дороги зажегся зеленый свет, и машины двинулись сплошной лавиной.

Инна стояла среди прочих пешеходов и переждала движение. Вдруг увидела того человека, которого она любила. Его машина шла в среднем ряду.

Инна подумала: он ждал меньше часа. Однако минут сорок все же ждал. Она увидела, что он ее тоже увидел. Улыбнулась доброжелательно и равнодушно, как хорошему знакомому, и мелко встряхнула головой, дескать: вижу, вижу... очень приятно. Он все понял. Он был умница – за это она и любила его так долго. Он понял, и тоже улыбнулся, и поехал дальше. И его машина затерялась среди остальных машин.

Инна вдруг почувствовала замечательное спокойствие. Она поняла, что Адам и тот человек, которого она любила, были каким-то странным образом связаны между собой, как сообщающиеся сосуды. И присутствие в ее жизни одного требовало присутствия другого. Когда один ее унижал, то другой возвышал. Когда один ее уничтожал, то другой спасал. А сейчас,

когда один проехал мимо ее жизни, исчезла необходимость спасаться и самоутверждаться. Значит, исчезла необходимость и в Адаме. Адам мог сочетаться только в паре, а самостоятельного значения он не имел. Не потому, что был плох. Он, безусловно, представлял какую-то человеческую ценность. Просто они с Инной – из разных стай, как, например, птица и ящерица. Не важно – кто птица, а кто – ящерица. Важно, что одна летает, а другая ползает. Одной интересно в небе, а другой – поближе к камням.

Зажегся красный свет, и пешеходы двинулись через дорогу. Навстречу Инне шли люди разных возрастов и обличий, и среди всех бросалась в глаза яркая загорелая блондинка, похожая на финку с этикетки плавленого сыра «Виола». Инна невольно обратила на нее внимание, потому что «Виола» бросалась в глаза и очень сильно напоминала кого-то очень знакомого.

«На кого она похожа? – подумала Инна. – На меня». «Виола» шла прямо на Инну, не сводя с нее глаз до тех пор, пока Инна не сообразила, что это она сама отражается в зеркальной витрине магазина. Она шла себе навстречу и смотрела на себя как бы со стороны: вот идет женщина неполных тридцати двух лет. Выглядит на свое. Не моложе. Но и не старше ни на минуту. Это не много – тридцать два года. И не мало. С какой стороны смотреть: на пенсию – рано. Вступать в комсомол – поздно. А жить и надеяться – в самый раз. И до тех пор, пока катится твой поезд, будет мелькать последний вагон надежды.

Лошади с крыльями

- Ничего не получится, – сказала Наташа. – Никуда они не поедут.
- Это почему? – спросил Володя, сворачивая машину вправо и еще раз вправо.
- А потому. С ними связываться все равно что с фальшивой монетой.

Володя остановил машину возле второго подъезда. Договорились, что Гусевы будут стоять внизу, но внизу никого не было.

Наташа вылезла из машины и отправилась на третий этаж. Дверь у Гусевых никогда не запиралась – не потому, что они доверяли людям, а потому, что теряли ключи.

Наташа вошла в дом, огляделась по сторонам и поняла, что следовало захватить с собой палку и лопату – разгрести дорогу. Прежде чем ступить шаг, надо было искать место – куда поставить ногу. В прихожей валялась вся имеющаяся в доме обувь, от джинсовых босоножек до валенок и резиновых сапог. И все в четырех экземплярах. На кедрах засохла еще осенняя грязь. Дверь в комнату была растворена, просматривалась аналогичная обстановка: на полу и на стульях было раскидано все, что должно лежать на постели и висеть в шкафу.

Алка была тотальная, вдохновенная неряха. И как жил с ней Гусев, нормальный высокооплачиваемый Гусев, было совершенно непонятно.

Алка вышла в прихожую в рейтузах с оттопыренной задницей и тут же вытаращила глаза с выражением активной ненависти и потрясла двумя кулаками, подтверждая эту же самую активную ненависть.

Возник понурый Гусев – небритый, драный, с лицом каторжника.

– Здорово, – тускло сказал Гусев так, будто они ни о чем не договаривались и не было совместных планов поехать на воскресную прогулку.

Наташа открыла рот, чтобы задать вопрос, но Алка ухватила ее за руку и увлекла в кухню. На кухне в мойку была свалена вся посуда, имеющаяся в доме. Стены шелушились, потолок потек, и Наташа невольно ждала, что ей на голову откуда-нибудь свалится ящерица. В этой обстановке вполне могла завестись ящерица или крокодил. Завестись и жить. И его бы не заметили.

– Ну и бардак у тебя, – подивилась Наташа.

– Ты знаешь... – Алка проникновенно посмотрела на подругу аквамариновыми глазами. Ее глаза имели способность менять цвет от настроения и от освещения. И надо сказать, что когда Алка выходила из своей берлоги на свет, то у всех было полное впечатление, что она вышла из голливудского особняка с четырнадцатью лакеями и тремя горничными. Алка умела быть лощеной, элегантной, с надменным аристократическим лицом, летучей улыбкой. Софи Лорен в лучшие времена. Сейчас она стояла унылая, носатая, как ворона. Баба-яга в молодости. – Ты знаешь, вот дали бы ложку яду... клянусь, сглотнула бы и не пожалела, ни на секунду не пожалела об этой жизни...

Наташа поняла: в доме только что состоялся скандал, и причина Алкиной депрессии – в скандале. Поэтому Гусев ходил отчужденный и мальчишки не вылезали из своей комнаты, сидели как глухонемые.

Скандал, как выяснилось, произошел оттого, что Гусев отказался ехать на прогулку. А отказался он из-за троюродной бабки, которая померла три дня назад. Алка считала, она так и сказала Наташе, что бабке давно пора было помереть: она родилась еще при Александре Втором, после этого успел умереть еще один царь, сменился строй, было несколько войн – Первая мировая, Гражданская и Вторая мировая. А бабка все жила и жила и умерла только три дня назад. А Гусев, видишь ли, расстроился, потому что бабка любила его маленького и во время последней войны прислала ему в эвакуацию ватник и беретку. Сыновья – паразиты, ругаются и дерутся беспрестанно. В доме ад. Посуда не мыта неделю. Все ждут, пока Алка

помоет. Все на ней: и за мамонтом, и у очага. А даже такая радость, как воскресная прогулка с друзьями, ей, Алке, недоступна. Алкины глаза наполнились трагизмом и стали дымчато-серые, как дождевая туча.

Володя загудел под окном.

– Какой омерзительный гудок, – отвлеклась Алка от своих несчастий. – Как малая секунда – до и до-диз.

– Как зеленое с розовым, – сказала Наташа.

Алка была хореограф в музыкальном училище, а Наташа – преподаватель рисования в школе для одаренных детей. Одна воспринимала мир в цвете, а другая в звуке. Но сочетались они замечательно, как цветомузыка.

– Ну, я пойду, – сказала Наташа. – Очень жаль...

Ей действительно было очень жаль, что Алка не едет, потому что главное – это Алка. Володя – просто колеса. Гусев – компания для Володи, чтобы не болтался под ногами. Мужчин можно было бы оставить вдвоем, и они разговаривали бы про Рейгана.

Мужчины такие же сплетники, как женщины, но женщины перемывают кости своим подругам, а мужчины – правительствам, но в том и другом случае – это способ самоутверждения. Рейган сделал что-то не так, и Гусев это видит. И Володя Вишняков видит. Значит, Гусев и Вишняков – умнее Рейгана. Рейган в сравнении с ними – недалекий человек, хоть и сидит сейчас в Белом доме, а они идут по зимнему лесу за своими женами-учительницами.

А Наташа рассказывала бы Алке про выставку детского рисунка и про Мансурова. Она говорила бы про Мансурова час, два, три, а Алка бы слушала, и ее глаза становились то темно-зеленые – как малахиты, то светло-зеленые – как изумруд. И, глядя в эти глаза, можно было бы зарыдать от такой цветомузыки, такой гармонии и взаимопроникновения.

На кухню вышел Гусев, поискал в горе посуды кружку. Вытащил с грохотом.

– Может, съездим? – поклячила Алка.

Гусев стал молча пить воду из грязной кружки. Он чувствовал себя виноватым за свое человеческое поведение. Алке кажется нормальным, когда умирает очень старый человек. А ему кажется ненормальным, когда умирает его родственница. Ему ее жаль, сколько бы ей ни было лет. Хоть триста. Старые родственники – это прослойка между ним и смертью. И чем больше смертей – тем реже прослойка. А если умирают родители – то ты просто выходишь со смертью один на один. Следующий – ты.

– Ладно, – сказала Наташа. – Я пойду.

– Не обижаешься? – спросила Алка.

– Я знала, – сказала Наташа.

– Откуда?

– Ясновидящая. Со мной вообще что-то происходит. Я все предчувствую.

– Нервы, – определила Алка. – Потому что живем, как лошади с крыльями.

«Лошади с крыльями» – так они звали комаров, которые летали у них на даче в Ильинском. Они летали, тяжелые от человеческой крови, и кусались – может, не как лошади, но и не как комары. И действительно, было что-то сходное в позе между пасущимся конем и пасущимся на руке комаром.

– А что это за лошадь с крыльями? – спросил Гусев. – Пегас?

– Сам ты Пегас, – сказала Алка.

– Пошла ты на фиг, – ответил Гусев, бросил кружку в общую кучу и пошел из кухни.

Наташа перехватила Гусева, обняла его, прощаясь.

– Не ругайтесь, – попросила она.

– Если мы сейчас от этого уйдем, – Гусев ткнул пальцем на мойку, – мы к этому и вернемся. И это будет еще на неделю. Это же не дом! Тут же можно без вести пропасть! Скажи хоть ты ей!

– Скажу, скажу, – пообещала Наташа, поцеловала Гусева, услышала щекой его щетину и запах табака и еще какой-то запах запустелости, как в заброшенных квартирах. Запах мужчины, которого не любят.

Лес был белый, голубой, розовый, сиреневый. Перламутровый.

Наташа мысленно взяла кисти, краски, холст и стала писать. Она продела бы сквозь ветки солнечные лучи, дала бы несколько снежинок, сверкнувших, как камни. А сбоку, совсем сбоку, в углу – маленькую черную скамейку, свободную от снега. Все в красоте и сверкании, только сбоку чье-то одиночество. Потому что зима – это старость. Наташа поставила на лесную тропинку своих самых одаренных учеников: Воронько и Сазонову. Воронько сделал бы холод. Он написал бы воздух стеклянным. А Сазонова выбрала бы изо всего окружающего еловую ветку. Одну только еловую ветку под снегом. Написала бы каждую иголочку. Она работает через деталь. Через подробности. Девочки мыслят иначе, чем мальчишки. Они более внимательны и мелочны.

– Ты ходила в психдиспансер? – спросил Володя.

– Отстань, – попросила Наташа.

Они собрались по приглашению поехать в Венгрию, надо было оформить документы и среди прочих – справку из психдиспансера, удостоверяющую, что она, Наташа, на учете не состоит. И за границей не может быть никаких сюрпризов. Все ее реакции адекватны окружающей среде. Наташа ходила в диспансер три раза, и всякий раз неудачно: то рано, то поздно, то обеденный перерыв.

Володино напоминание вырвало Наташу из леса и перенесло в психдиспансер Гагаринского района с унылыми стенами и очередями из осознавших алкоголиков.

– Отстань ты со своим диспансером, – предложила Наташа.

– Ну, с тобой свяжись, – обозлился Володя и как бы в знак протеста обогнал Наташу. Он не любил зависеть от кого-либо, и от жены в том числе.

Наташа посмотрела в его спину. Подумала: «Фактурный мужик». У него был красивый рост, красивая голова, чуть мелкая и сухая – как у белогвардейца, красивые руки, совершенная форма ногтей. Но не было у Наташи таких сил, которые могли бы заставить ее снова полюбить эти руки вместе с формой ногтей.

Когда-то, первые пять лет, до рождения Маргошки, они были влюблены друг в друга так, что не расставались ни на секунду ни днем ни ночью. Ходили, взявшись за руки, и спали, взявшись за руки, как будто боялись, что их растащат. А сейчас они спят в разных комнатах и между ними стена – в прямом и переносном смысле. Наташа пожалела, что поехала в лес. Дома можно спрятаться: ему – за газеты, ей – за кастрюли.

А здесь не спрячешься. Надо как-то общаться. Были бы сейчас Гусевы – все упростилось бы. Распределились бы по интересам: Гусев с Володей, Алка с Наташей.

Сначала перемыли бы кости Марьянке. Марьянка вышла замуж за иностранца, шмоток – задавись, и ничего не может продать. Не говоря уже – подарить, хотя могла бы и подарить. Что ей стоит. Но известно: на Западе все считают деньги. И наши, попадая на Запад, очень быстро осваивают капиталистическое сознание, и начинают считать деньги, и даже родным подругам ничего не могут подкинуть, даже за деньги. А как хочется кожаное пальто цвета некрашеного дерева, как хочется быть красивой. Сколько им еще осталось быть красивыми? Пять лет, ну шесть... Хотя десять лет назад они считали так же: тогда они тоже считали, что им осталось пять лет, от силы шесть... Говорят, чем дольше живешь, тем выше поднимается барьер молодости.

Поговорили бы о Елене, которая, по слухам, была у филиппинских целителей и они ее вылечили окончательно и бесповоротно, в то время как все остальные врачи, включая светил, опустили руки. И когда думаешь, что есть филиппинские целители – жить не так страшно.

Пусть они на Филиппинах и до этих Филиппин – непонятно как добраться, но все же они есть, эти острова, и целители на них.

Марьяна и Елена – это подруги. Точнее, бывшие подруги. Это дружба. Бывшая дружба. А есть любовь. Алка и Наташа считали одинаково: нет ничего важнее любви. И смысл жизни – в любви. Поэтому всю жизнь человек ищет любовь. Ищет и находит. Или не находит. Или находит и теряет, и, если разобраться, вся музыка, литература и живопись – об этом.

И даже детские рисунки – об этом. Воронько все время рисует деревянные избы со светящимися окнами. Изба в поле. Изба в саду. Зимой. Осенью. И каждый раз кажется, что за этим светящимся окошком живут существа, которые любят друг друга, – мужчина и женщина. Бабушка и внучка. Девочка и кошка. У Воронько лампа тепло светится. И даже если смотреть картину в темноте – лампа светится. На выставке он получил первую премию. Но это уже о другом. Это тоже интересно – выставка. Но главное – Мансуров.

Алка бы спросила:

– А как вы познакомились?

– Руководительница выставки подошла и сказала: «Больше никому не говори, местное руководство приглашает на банкет». Почему «не говори» – непонятно. Ну ладно. Стол накрыли за городом, на берегу какого-то водоема. Лягушки не квакают – орут, как коты. В Туркмении вода – редкость. Там пески, пустыни, верблюды. В провинции девушки волосы кефиром мажут. Но это уже о другом. Это тоже безумно интересно – Туркмения. Но главное – Мансуров. Ты знаешь, Алка, я не люблю красивых. Мне кажется, красивые – это не для меня. Слишком опасно. Мне подавай внутреннее содержание. Но сейчас я понимаю, что красота – это какая-то особая субстанция. Торжество природы. Знаешь, когда глаз отдыхает. Даже не отдыхает – поражается. Смотришь и думаешь: не может быть! Так не бывает!

Я подхожу к столу. Он увидел. Встал и пошел навстречу: плечи расправлены, торс играет, как у молодого зверя. А зубы... А выражение... Глаза широко поставлены, как у ахалтекинського коня. Кстати, говорят, что ахалтекинцев не отправляют на бойню. Они умирают своей смертью, и их хоронят как людей. В землю.

Нас водили на конный завод. Каждый конь стоит на аукционе дороже, чем машина «вольво». Еще бы... «Вольво» можно собрать на конвейере, а ахалтекинца собирает природа. Когда я вошла на территорию завода, маленький табун, маленький островок ахалтекинцев, повернул ко мне головы, одни только головы на высокой шее. Огромные глаза по бокам головы. И смотрят. И такое выражение, как будто спрашивают: «А ты кто?» Или: «Тебе чего?» Или: «Ты, случайно, не лошадь?» Да, так вот, Мансуров встал и пошел навстречу – обросший, пластичный, дикий, ступает, как Маугли – получеловек-полуволок.

Алка бы спросила:

– Так конь или волк? Это разные звери. Что общего у лошади с собакой?

– Он разный. Не перебивай.

– Ну хорошо. А дальше?

– Дальше он сказал одно только слово: «Лик...»

– Это туркменское слово?

– По-туркменски он не понимает. У него мать русская, а отца нет. Отец, кстати, тоже был наполовину русский.

– А что такое «лик»?

– Лик – это лицо. Икона.

– Ты? Икона? – удивилась бы Алка и посмотрела на Наташу новыми, мансуровскими глазами, ища в ней приметы святости. – А во что ты была одета?

– В белое платье.

– Которое шведское? – уточнила бы Алка. – Из небеленого полотна?

– Он сказал, что в такие одежды в начале века одевались самые бедные крестьяне. Я шла босиком и в самых бедных одеждах. А на шее серебряные колокольчики. На толкучке купила. Между прочим, ашхабадская толкучка... Нет, не между прочим. Это главное. По цвету – поразительно. Женская одежда пятнадцатого века носится до сих пор как повседневная. Одежда пятнадцатого века – не на маскарад, не в этнографический музей, – а утром встает человек, надел и пошел. Очень удобно. Сочетание цветов выверено веками. Попадаешь на толкучку и как будто проваливаешься в глубь веков – и ничего нет: ни сосуществования двух систем, ни космических полетов. Ничего! Открываются деревянные ворота, и на толкучку выезжает деревянная арба, запряженная ослом. А в ней – старые туркмен и туркменка, лет по пятьсот, в национальных одеждах. Она – с трубой. И вот так было всегда. Есть. И будет.

– Он сказал: «Лик...» А потом чего? – перебила бы Алка.

– Ничего. Остановился: на, гляди! Белозубый, молодой. Над головой небо. За спиной цветущий куст тамариска. Или саксаула. Мы все время путали: саксаул или аксакал. Хотя саксаул – это дерево, а аксакал – старый человек. Кстати, саксаул тонет в воде.

– Так же как и аксакал, – вставила бы Алка.

– Я не поверила. Бросила тоненькую веточку, и она тут же пошла ко дну.

– Не отвлекайся, – попросила бы Алка. – Ты все время отвлекаешься.

– А на чем я остановилась?

– Белозубый. Молодой.

Потом-то увидела, что не такой уж молодой. Под сорок. Или над сорок. Усталость уже скопилась в нем, но качественного скачка еще не произошло. Он еще двигался и смеялся, как тридцатилетний. Возраст не читался совершенно. Но это другими не читался. Наташа увидела все. Увидела, что бедный – почти нищий. Нервный – почти сумасшедший. Одинок. И ждет любви. Ее ждет. Наташу. Почти все люди на всей земле ждут любви. И в Швеции, откуда Володя привез платье. И в Туркмении, где выставка детского рисунка. И в Италии, где хорошие режиссеры ставят хорошее кино. И даже в Китае – и там ждут любви. Но, как правило, ждут в обществе своих жен, детей, любовниц. А Мансуров ждет один. И уже с ума сошел, так устал ждать.

– А как ты это увидела?

– Ясновидящая. Как летучая мышь.

– Летучая мышь слепая, а дальше что было?

– Больше я его в этот вечер не помню. Меня посадили с начальством.

– А Мансуров кто?

– Художник. Он был в составе жюри.

– Но жюри – это тоже начальство.

– Художник и начальник – это разные субстанции.

– А почему ты сама с ним не села?

– Я ничего не решала.

– А дальше?

– Плохо помню. Было много выпито, и съедено, и сказано. И все это с восточным размахом, широтой и показухой. Потом какие-то машины, куда-то ехали, и опять все сначала – в закрытом помещении, с музыкой, танцами, круговертью талантов, полуталантов, спекулянтов, жаждавших духовности, красивых женщин, никому не пригодившихся по-настоящему.

– А главное?

– Главное – это мой успех. Ты же знаешь, Алка, я никогда не хвастаюсь. Я, наоборот, всегда себя вышучиваю.

– Это так, – кивнула бы Алка.

– Но в этот вечер я была как пробка от шампанского, которую держат возле бутылки стальные канатики. Иначе бы я с треском взлетела в потолок. От меня исходило какое-то счастливое безумие, и у всех, кто на меня смотрел, были сумасшедшие глаза.

– Предчувствие счастья, – сказала бы Алка. – Мансуров.

– Не сам Мансуров, не конкретный Мансуров, а все прекрасное, что есть в жизни: молодость, мечта, подвиг перемен, творческий полет, маленький ребенок – все это называлось Мансуров. Понимаешь?

– Еще бы...

– Подошел ко мне Егор Игнатьев из МОСХа, лысый, благородный, говорит: «Наташа, ну что в вас особенного? Ровным счетом ничего! А я ловлю себя на том, что смотрю на вас и хочу смотреть еще и просто глаз не могу отвести». И вдруг – Мансуров. Как с потолка. Где он все время был? Откуда взялся? Идет прямо ко мне. Я поднялась ему навстречу. Мы обнялись и тихо закачались в танце. Медленно. Почти стоим. Все вокруг бесится. С ума сходят. А мы просто обнялись и замкнули весь мир. И держим. Лицо в лицо. Я моргаю и слышу, как мои ресницы скребут его щеку. Не целуемся. Нет. Встретились.

– Счастливая... – вздохнула бы Алка.

– То есть... Если бы сказали: заплатишь во сто крат. Любую цену. Хоть жизнь. Не разомкнула бы рук. Пусть что будет, то и будет... Руководительница выставки смотрит на меня с большим недоумением, дескать: поберегла бы репутацию, старая дура... А мне плевать на репутацию.

– Плевать? – переспросила бы Алка.

– Тогда – да.

– Да? – поразилась бы Алка и даже остановилась на морозной тропе. Стояла бы и смотрела на Наташу с таким видом, будто ей показали приземлившуюся летающую тарелку.

Наташа вспомнила, как Мансуров проводил ее до номера. Они вместе вошли в комнату и сели, не зажигая света. Он – в кресло. Она – на пол. У его ног. Так ей хотелось – быть у его ног. Поиграть в восточную покорность. Надоела европейская самостоятельность. Посидели молча. Потом она сказала:

– Иди. А то ты меня компрометируешь.

Он послушно встал, подошел к двери, открыл ее – блеснула полоска света из коридора и исчезла. И снова стало темно. Но он закрыл дверь перед собой. А сам остался.

Наташа подумала, что он ушел, и острое сиротство вошло в душу. Она поднялась с пола и легла на кровать – в платье и в туфлях. А он подошел и лег рядом. Так они лежали – оба одетые и молча, не касаясь друг друга, как старшие школьники после дня рождения, пока родители не вернулись. И только токи, идущие от их тел, наполняли комнату напряжением, почти смертельным. Нечем было дышать.

– И чего? – спросила бы Алка.

– Ничего, – ответила бы Наташа. – Того, о чем ты думаешь, не было.

– Почему?

Алка искренне не понимала – где проходит грань дозволенного, если уж дозволено. У Наташи на этот счет была своя точка зрения – природа замыслила таким образом: двое людей обнимают друг друга и сливаются в одно духом и плотью, и от этого происходит другая жизнь. Или не происходит. Но все равно – в одно. И после этого уже невозможно встать на пол босыми ногами и разойтись – каждый по своим жизням. После этого люди не должны больше расставаться ни на секунду, потому что они – одно. Вместе есть, думать, предугадывать. А если и врозь, то все равно – вместе. А здесь был другой город, номер в гостинице, где жил кто-то до тебя, теперь – ты, потом – кто-то следующий. А через несколько дней утром надо будет собирать чемодан и лететь самолетом в свой дом на Фрунзенской набережной. И как знать – чем

это покажется на расстоянии, может быть, чем-то из области пункта проката: взял на время, вернул вовремя. А если вернул не вовремя – плати. Доплачивай.

– Чепуха какая-то... – сказала бы Алка. – Разве можно все рассчитывать?

– Это не расчет.

– А что?

– Боязнь греха. Как у наших бабушек. Или просто порядочность, как у наших матерей.

– А наши дети когда-нибудь нас засмеют.

– Значит, мы – другое поколение. В этом дело. Нравственность другого поколения...

– Нет нравственности целого поколения. Есть отдельная нравственность отдельных людей.

– Есть, – сказала бы Наташа. – Есть нравственность целого поколения, и она влияет на отдельную нравственность отдельных людей. А иногда наоборот: сильные личности формируют нравственность целого поколения.

– Ну хорошо, – согласилась бы Алка. – Предположим, ты – нравственная идиотка.

А Мансуров?

– Он сказал, чтобы я родила ему дочь.

– Ничего не понимаю. Откуда дочь, если ничего не было!

– Потом. Когда все будет по-другому. У нас будет дочь, и ее так же будут звать, как меня.

– А он?

– А он – с нами.

– С кем «с вами»? С тобой и с Володей?

– Нет. Со мной, Маргошкой и Наташей.

– А Наташа кто?

– Наша новая дочь.

С ветки упал снег и рассыпался по подмерзшему насту.

...Счастье и горе одинаково потрясают человека, только в одном случае – со знаком плюс, а в другом – со знаком минус. Мансуров лежал потрясенный счастьем, и его лицо было почти драматическим. Он был прекрасен и с каждой секундой становился прекраснее, и вот уже не лицо, а действительно Лик. Вечность. Тайна. Слезы стали у горла. Видимо, организм слезами отвечал на потрясение. Она положила голову на его плечо и стала тихо плакать. А он гладил ее по затылку и боялся двинуться, чтобы не оскорбить ее целомудрие, – как будто бы не сорокалетний красавец, прошедший огонь, воду и медные трубы... Кстати, через медные трубы, то есть через славу, он тоже прошел. Не бог вещь какая слава, но в своих кругах – серьезный успех и хорошее имя, в своих кругах. А для кого, в общем, работаешь? Чтобы быть понятым среди своих. Единомышленников. А что касается широкой славы, что касается бессмертия – того знать не дано. Не дано знать – как перетасует время сегодняшние таланты, кого оставит, кого откинет, как в пасьянсе. Не об этом должен думать художник, когда достанет свои кисти. Он должен просто знать, что за него его работу не сделает никто. А значит, он должен делать свое дело с полной мерой искренности и таланта.

Он спросил:

– Можно, я закурю? – Он боялся, что испугает ее, если начнет двигаться, искать сигареты, зажигалку.

– Ну конечно, – сказала она.

Он закурил. Поднес сигарету к губам Наташи. Она затаилась. Они лежали и курили одну сигарету. И было как в бомбоубежище, когда наверху рвутся снаряды и все гибнет, а ты защищен – и стенами, и землей.

Он спросил:

– Ты хороший художник?

Она сказала:

– Хороший. А ты?

– И я хороший.

Снова покурили. И он вдруг проговорил, непонятно кому и чему:

– Да...

И ей захотелось сказать – непонятно кому и чему:

– Да...

Дело не в том, пробилась она или нет. Внешне – нет. Она учительница, учит одаренных детей осмыслить свою одаренность. Но непробившийся художник – тоже художник, и единственное, на что не имеет права, – думать о себе, что он плохой художник. Потому что если думать о себе, что ты неталантлив, и все же садиться за работу – это из области мошенничества. Только мошенник может заведомо изготавливать плохую продукцию.

От Мансурова по всей длине его длинного тела наплывали волны, не напряженные и пугающие, как раньше, а другие – теплые, нежные и добрые. Наташа лежала как бы погруженная в его нежность и понимала: когда этого нет – нет ничего. Душа без любви – как дом без огня. Кажется, это строчка из какой-то песни. И тем не менее – это правда. Душа без любви – как дом без огня, когда вдруг где-то перегорают пробки и вырубается свет. И тыркаешься и не знаешь, что делать. Ни почитать, ни телевизор поглядеть. Несчастье, да и только. Единственное утешение, что и у других так же. Во всем доме нет света.

Жить без любви – несчастье. Иногда забываешь об этом. Живешь себе по инерции, даже приспособливаешься. Вроде так и надо. И только когда вот так вытянешься во всю длину человека, подключенного к станции «Любовь», когда увидишь, как он курит, услышишь, как он дышит, увидишь его лицо, потрясенное счастьем...

Наташа вспомнила: был момент, когда показалось – не справится, сейчас растворится и умрет в нем так, что не соберет снова. Собрала, конечно. Но кусок души все же забыла. Оставила в нем. Интересно, куда он его дел, этот кусочек ее души?

Потом он потушил сигарету и заснул. Она долго лежала рядом и думала, что если каждую ночь засыпать вместе с любимым человеком – сколько дел можно переделать, встав поутру. И каких дел. И как переделать.

Человек во сне заряжается счастьем и, проснувшись, может прорубить Вселенную, как ракета...

– Ты пойдешь в психдиспансер?

Наташа вздрогнула. Володя подошел незаметно. Стоял и смотрел на нее с враждебностью – так, что, если она скажет: «Не пойду», он столкнет ее в снег. Захотелось сказать: «Не пойду».

– Вернемся домой, – потребовала она. – Я замерзла.

– А когда пойдешь? – не отставал Володя.

– Ну пойду, пойду. Господи...

Она обошла его и быстро зашагала в сторону дороги.

– Ну почему ты такая? – с отчаянием спросил Володя, идя следом.

– Какая «такая»?

– Ты делаешь только то, что тебе интересно. А если тебе неинтересно... Так же нельзя. Ты же не одна живешь...

«Одна», – подумала Наташа, но промолчала. Она давно жила одна. Когда это началось? С каких пор? Видимо, тогда... Володя клялся, что это чепуха, но сознался, что было. Вот этого делать не следовало. Она с легкостью поверила бы его вранью, но он вылез со своей честностью и раскаянием, и она еще должна была его за это оценить.

Если бы сейчас разобраться поздним числом – действительно ерунда. Но тогда... Тогда была самая настоящая драма – долгая и мучительная, как паралич. И тогда случилась трещина. Чувство не выдержало сильных контрастных температур и треснуло. Они оказались на разных обломках трещины, а потом океан (их жизни) потащил эти разные обломки в разные стороны.

И уже сейчас не перескочишь. Не поплыть вместе. Дай бог увидеть глазом. А в общем – какая разница? Кто виноват? Она или он? Важно то, что сейчас. Сегодня. А сегодня – они банкроты. Их брак – это прогоревшее мероприятие. А прогоревшее мероприятие надо закрывать, и как можно раньше.

А что, если в самом деле – взять и выйти замуж за Мансурова? И родить ему дочку? Тридцать шесть лет – не самое лучшее время для начала жизни. Это не двадцать. И даже не тридцать. Но ведь дальше будет сорок. Потом пятьдесят. Шестьдесят. И этот кусок жизни тоже надо жить. И быть счастливой. Если можно быть счастливой хотя бы неделю – надо брать и эту неделю. А тем более года.

Почему люди так опутаны условностями? Неудобно... Нехорошо... А вот так, с выключенной душой, – удобно? Хорошо? Или ей за это орден дадут? Или вторую жизнь подарят? Что? Почему? Почему нельзя развестись с обеспеченным Володей и выйти замуж за нищего Мансурова? Да и что значит обеспеченность? Сейчас все живут примерно одинаково. Разница – квартира из одной комнаты или квартира из пяти комнат? Но это же не двухэтажный особняк. Не дворец. И едят примерно одно. Какая разница – икра или селедка? Кстати, то и другое вредно. Задерживает соли. Галина из отдела заказов, выдавая продукты, говорит так: «Жрать – дело свинячье». И это правда. Человек вообще преувеличивает значение еды и вещей. Разве не важнее ощущение физической легкости и душевного равновесия? А где его обрести? Только возле человека – любимого и любящего. Лежать с ним рядом, курить одну сигарету. И молчать. Или встать на лыжи и рвануть по шелковой лыжне, проветривать кровь кислородом. Или просто – сидеть в одной комнате, смотреть телевизор. Он – в кресле. Она – у его ног. Алка, Алка... Боже мой, что делать? Как трудно жить...

– Ждать? – переспросила бы Алка.

– Жить и ждать. Жить, ожидая...

– А он женат? – поинтересовалась бы Алка.

– Разведен.

– Почему?

– Не говорит. Но, как я догадалась, имело место предательство. Причем не женское. Человеческое.

– Жизнь груба, – сказала бы Алка.

– Груба, – подтвердила бы Наташа. – Поэтому и нужны в ней близкие люди, которые тебя понимают и поддерживают.

– А дети есть?

– Есть. Мальчик.

– Может, помирятся? Все-таки ребенок...

– Я ему так же сказала. Этими же словами. Он ответил: «Она меня предала. Я ее расстрелял и закопал. Что же, я теперь буду разрывать могилу?»

– А простить нельзя?

– Смотря по каким законам судить. Если по законам военного времени, то, наверное, нельзя. Во всяком случае, до конца – нельзя. А если не до конца – это компромисс. А компромиссы возвращают душу.

– Человек легко прощает свое предательство, но не прощает чужого по отношению к себе.

– Ты что, на стороне жены? – спросила бы Наташа.

– Я всегда на стороне жен.

Какая жена? О чем речь? Вспомнила, как они утром пошли на угол есть шашлык. Красивый мальчик-туркмен сооружал шашлыки прямо на улице, насаживая на шампуры лук и куски мяса, стараясь при этом, чтобы на шампур вперемежку с жилистыми кусками попадались и хорошие, мягкие. Чтобы все было справедливо, а не так: одному все, а другому ничего.

Они с Мансуровым хватали зубами горячие куски мяса, пахнущие углем саксаулового дерева, и смотрели друг на друга, видя и не видя. То есть она уже не видела, как он выглядит объективно, на посторонний глаз. Она видела его сквозь свое знание и тайну.

На нем была панама, какую носят в колониальных войсках. Он надел ее плотно, чуть набок. Он говорил: «Я понимаю, почему у ковбоев все должно быть чуть тесновато. Если надеть широкие штаны и шляпу, которая лезет на уши, – не вскочишь ни на какого мустанга и не поскачешь ни в какие прерии. А пойдешь домой и ляжешь спать».

Он стоял перед ней в тесноватых джинсах, тесноватой шляпе. Маугли-ковбой. Как он видел ее, вернее, какой он ее видел – она не знала. Но ей было очень удобно под его взглядом. Тепло, как дочке. Престижно, как жене короля. И комфортно, как красавице.

Мальчик-туркмен шинковал лук, рассекая его вдоль луковицы. Наташа обычно резала лук поперек. Она спросила:

– А разве так надо резать?

Мансуров вручил ей свой шашлык, взял у мальчика нож, луковицу. Нож удобно застучал о стол, и через несколько секунд выросла горка идеальных, почти прозрачных колечек, сечением в миллиметр.

– Ты умеешь готовить? – удивилась Наташа.

– Я тебе к плите не дам подойти, – ответил Мансуров.

К гостинице должны были подать экскурсионный автобус, но автобуса не было. Стали бродить вокруг гостиницы.

– Расскажи что-нибудь о себе, – попросил Мансуров.

Наташа вдруг сообразила, что они почти не знакомы и ничего друг о друге не знают, кроме того внутреннего знания, которое людей объединяет, или разъединяет, или оставляет равнодушными.

– Что рассказать? – спросила она.

– Что хочешь.

Наташа подумала и выбрала из своей жизни самый грустный кусочек. Хотела пожаловаться. Хотелось, чтобы он понял ее и пожалел.

Она принялась рассказывать о том долгом параличе. Мансуров остановился. Лицо его напряглось и стало неподвижным, будто он сдерживал боль. Вдруг приказал:

– Замолчи! Зачем ты это делаешь?

– Что? – не поняла Наташа.

– Зачем ты туда возвращаешься?

– Куда?

– В мученье. Ведь ты уже это прожила. Пережила. А сейчас ты опять себя туда погружаешь. Опять мучаешься. Не смей!

– Но...

– Все! Я не отпускаю тебя. Стой здесь. В этом августе. Возле меня.

Люди шли мимо и оборачивались, хотя Наташа и Мансуров ничего себе не позволяли. Просто стояли и разговаривали. Но чем-то задерживали человеческое внимание. Чем? Тайной прошедшей ночи. Эта тайна останавливала людей, как автомобильная катастрофа. Как пожар. Как венчание при церковном хоре.

Вот так... обвенчаться с фатой и белым венком на волосах, с опущенными глазами. И жить с человеком, который к плите не даст подойти, который не пустит ни в одно тяжкое воспоминание. Жить вместе и служить друг другу чисто и высоко. И ни одного предательства. Ни в чем. Даже в самой мелкой мелочи, в самом пустячном пустяке.

Он, видимо, думал об этом же, потому что сказал:

– Я буду жить только тобой, а ты – мной.

Наташа задумалась.

А потом они потерялись. Пришел автобус. Мансуров куда-то исчез, как умел исчезать и появляться только он один. Стоял – и нет. Как сквозь землю провалился. И уже непонятно: был ли он когда-нибудь вообще и будет ли снова?

Наташа вошла в автобус вместе со всеми и все время нервничала, не понимала – как ей поступить: выйти и ждать Мансурова или ехать со всеми? Обидеться на него или проявить солидарность? Но как можно проявить солидарность с исчезнувшим человеком? Тоже исчезнуть.

Автобус между тем тронулся, и все отправились смотреть восьмое чудо света. Или седьмое. Это не имело значения – какое чудо по счету. Алка... Если бы ты знала... Уму непостижимо. Чьему-то уму, конечно, постижимо. Ученые, наверное, все понимают – как и отчего... Глубоко в земле, вернее, в скале, – подземное озеро. Спускаешься вниз, как в шахту, и вдруг – среди корней скал опаловое озеро. Вода почти горячая, тридцать семь градусов. И серой пахнет. Как в аду.

Когдаходишь в море, даже самое теплое, – все-таки температура воды как минимум на десять градусов ниже температуры тела, и человек сжимается, как бы сопротивляется, и надо какое-то время, чтобы привыкнуть. А тутходишь, как в теплую ванну. Как в блаженство.

Ей захотелось тогда остаться одной. Она поплыла, поплыла куда-то по каменным лабиринтам и вдруг выплыла в другое, огромное круглое озеро. Тихо. Какая-то особая, неземная тишина. Тишина-вакуум. На отвесных скалах – летучие мыши, слепые и мрачные, как посланцы потустороннего мира. И сама – под землей, в восьмом чуде света. Под ногами – километры глубины. Так и сгинешь здесь, захлебнешься горячей серной водой, и только летучие мыши сделают почетный вираж над водой... Мансуров! Где ты? Появись! Возникни! Подставь плечо!

– Появился? – спросила бы Алка. – Возник?

– Он же не Воланд.

– Странно. Должен был появиться.

– Должен был. Но не появился.

– А потом?

...Потом все вылезли из озера. Поднялись наверх. На землю.

Солнце заходило. Небо было розовое. Горы. И острое, реальное, почти физическое ощущение момента – того самого момента, которому можно сказать: остановись!

Наташа, как правило, ностальгически тосковала о прошлом, прощая ему многое. Надеялась на будущее, ощущая в себе надежду, как пульс: девяносто ударов в минуту стучит надежда и поддерживает в ней жизнь. И только к настоящему относилась невнимательно. Настоящее – как путь в булочную за хлебом: дойти, купить хлеб и вернуться. А сама дорога – ни при чем. Встреченная собака на дороге, или облака над головой, или дерево, забывшее о тепле, – все это мимо, мимо! Главное – цель! А тогда, в тот момент, может, это было влияние серной воды, а может, это и было тем самым восьмым чудом света – не само озеро, а остановившееся мгновение, которое действительно прекрасно. И такая пронзила тоска от красоты. Красота тоже рождает сожаление.

– Сожаление от чего? – спросила бы Алка.

– От того, наверное, что время тащит тебя через коридор, как грубая нянька за ухо. А может быть, все настоящее потрясает по-настоящему.

– Надо еще это настоящее увидеть и по-настоящему потрястись. Способность принять и почувствовать – это молодость.

– Молодость беспечна. В молодости кажется, что всего навалом. Будут еще тысяча чудес света и миллион мгновений. Зачем их останавливать.

– А может, это просто Мансуров? – предположила бы Алка.

– Нет. Тогда все что-то почувствовали. Миколас из Литвы стоял со своими висячими усами, как будто его заговорили. А потом сказал одно слово: бон. По-французски это значит: хорошо.

– А почему он сказал по-французски, а не по-литовски?

– Он недавно из Парижа приехал. А Егор Игнатьевич вдруг ни с того ни с сего взбежал на гору, нарвал каких-то мелких цветов и стал заставлять всех нюхать. И меня заставил. И почему-то казалось, что он за собой туда взбежал, на эту гору. И букетик – это его существо, вернее – неосуществление. Его неопознанная душа, нераскрывшийся талант, вернее – не туда раскрывшийся. И он навязывает все это – и душу, и талант, сует к самому лицу. Мне почему-то его стало жаль, захотелось успокоить, сказать: «Да ладно, Егор... все хорошо. Все у тебя нормально».

– Ну а Мансуров? – напомнила бы Алка.

– В гостиницу вернулись к вечеру.

Когда вошла в номер, телефон звонил. Казалось, он звонил непрерывно, будто испортился контакт.

Она сняла трубку. Там помолчали. Потом голос Мансурова сказал очень спокойно:

– Пропади ты пропадом со своей красотой. Пропади ты пропадом со своими премиями.

Наташа вздрогнула:

– Какими премиями?

– Твои ученики получили две первые премии.

– Кто?

– Сазонова и Воронько.

Значит, домик с теплым окном получил первую премию. Значит, правильно она думает и заставляет правильно думать своих учеников. Воронько – за домик. А Сазонова – за крыло бабочки. Она взяла крыло бабочки и так его разглядела, что все только ахнули. Потому что никогда раньше не видели. Считали, наверное, что это мелочь. А Сазонова объявила: не мелочь. И вообще – нет мелочей. Главное, в конце концов, тоже состоит из мелочей.

Через десять минут Мансуров стоял перед ней, охваченный настоящим отчаянием, и она с каким-то почти этнографическим интересом смотрела, как проявляется в нем это сильное разрушительное чувство.

– Только ничего не объясняй! – запрещал он и тряс перед собой пальцами, собранными в щепотку. – Только ничего не говори!

– Но...

– Молчи! Слушай! И дочка наша такая же будет! Предательница и эгоистка. Ты передашь ей это со своими генами, и она так же будет меня бросать.

– Так же будет исчезать, – скороговоркой вставила Наташа.

– Больше ты меня не увидишь. Я думал, ты – одно. А ты – совершенно другое. Не мое дело тебя судить. Живите как хотите. Но я в это не играю. Я ухожу.

– Да иди, – сказала Наташа, обидевшись на множественное число. «Живите как хотите»... Значит, она – часть какого-то ненавистного ему клана, где много таких, как она. – Иди, кто тебя держит...

– Да, я уйду. Я, конечно, уйду. Я все понял.

– Что ты понял?

– Я понял, что это нужно только мне, а тебе это не надо.

– Что «это»?

Наташа понимала, что «это». Но она хотела, чтобы он оформил словами.

Он молчал какое-то время – видимо, искал слова. Потом сказал:

– Железная дверь в стене. В каморке у папы Карло. А ключик у нас. У тебя и у меня. Один. Но у тебя другая дверь, и мой ключ не подходит. Я устал. Господи...

Он опустился в кресло и свесил голову. Потом поставил локти на свои острые колени и опустил лицо в ладони.

– Господи... – повторил он. – Неужели нельзя по-другому? Неужели можно только так? Он устал от чужих дверей. От предательств. Господи, неужели нельзя по-другому?

Наташе стало жаль его, но и нравилось, что она внушила ему такие серьезные душевные перепады.

– Успокойся, – строго сказала Наташа. – Ничего не случилось. Это недоразумение, не более того.

Он поднял голову.

– Просто ты исчез. Я тебя потеряла. Куда ты подевался?

– Это я подевался? Я?

Они долго, целую минуту или даже две бессмысленно смотрели друг на друга, и Наташа поняла: он искренне уверен в том, что она сбежала. Что ей было удобно его отсутствие.

– Ты не прав, – сказала она. – Поверь мне.

– Как поверить?

Его душа, утомившаяся от предательств, ждала и верила только в одно. В следующее предательство.

– Как поверить? – растерянно переспросил он.

– Просто поверь. Не рассуждая. Скажи себе: «Я верю». И поверь.

Она подошла к нему. Он поднялся. Провел двумя пальцами по ее щеке медленным движением. Он как бы возвращался к ней, касался неуверенно, робко, будто боялся обжечься.

– Руководительница выставки оглядела автобус и сказала: «Все в сборе. Поехали», – дополнительно объяснила Наташа. – И поехали.

– Она нарочно так сказала. Она меня ненавидит. Меня здесь все ненавидят. Я не останусь. Я уеду с тобой.

– Куда?

– Все равно. Где ты, там и я. Я не могу без тебя. Я это понял сегодня. Не могу. Меня как будто ударили громадным кулаком. Вот сюда, – он положил руку под ребра на солнечное сплетение, – и выбили весь воздух. И я задохнулся. Зашелся. А потом сквозь стон и боль вдохнул вполглотка. И еще раз вдохнул. И этот воздух – ты. Я тебя вдохнул. Я умру без тебя.

Наташа промолчала.

– Ты мне не веришь?

– Верю. Но я замужем, в общем... – Главной была не первая часть фразы, а последнее слово: «в общем...»

– Ну и что?

– Где ты будешь жить? Что ты будешь делать?

– Я буду жить где угодно и работать где угодно. Только возле тебя. Все будет так, как ты захочешь. Скажешь: «Женись» – женюсь. Скажешь: «Умри» – умру.

– Не надо умирать. Живи.

– Господи... – вздохнула бы Алка. – Никому не нужна. Ни на секунду.

– Ты и так в себе уверена, – сказала бы Наташа. – Ты сама себе нужна.

– Я? – Алка бы подумала. – Я, конечно, в себе уверена. Мне не надо, чтобы мне каждую секунду говорили, что я лучше всех. Но я хочу собой делиться. Отдавать себя. Видеть мир в четыре глаза.

– Отдавай себя Гусеву.

– А я ему не нужна. То есть нужна, конечно, но иначе. Мой реальный труд. Руки, горб, лошадиные силы. Но не глаза.

– Тогда какой выход? Уносить из дома глаза – грех. А жить вслепую – еще больший грех.

– А как жить? В чем истина?

– Если человек болен, то для него истина в здоровье. Если он в пустыне и хочет пить, то для него истина – вода. А если есть здоровье и вода, а нет любви, то для него истина – в любви. Чего нет, в том и истина.

– Истина – в незнании истины, – сказала бы Алка. – Так же как не кончаются числа. Никогда нельзя найти последнего числа. И нельзя найти окончательной истины. И это правильно. Если человечество познает истину – человечество остановится. Оно дойдет до истины – и все. И уже дальше ничего не интересно.

– Наверное, нет общей истины. У каждого – своя. Главное – ее выделить и не затерять. Как драгоценный камешек в коробке среди пуговиц и бус.

– А как разобраться, что камешек, а что буса?

– Дело и дети – это камешки.

– А любовь?

– Это смотря что она после себя оставляет...

На закрытии выставки к Наташе подошел Игнатъев и сказал:

– Поздравляю. Успех – это самый реальный наркотик.

Наташа летуче улыбнулась ему, держа в руке бокал. На ней было платье на бретельках. Открытые плечи и спина. Можно в жару в лодке плавать. Васильки собирать. И на закрытие выставки прийти.

Мансурова не было. Когда Наташа вошла в зал, она сразу почувствовала, а потом уж и увидела, что его нет.

Подходили художники, педагоги, начальство. Поздравляли. Наташа благодарила, веря в искреннюю доброжелательность, но все время ждала. Что бы она ни делала, она ждала Мансурова, и каждая клеточка в ее теле была напряжена ожиданием.

Подошла руководительница выставки и спросила:

– Почему Мансуров два дня не отходит от Вишняковой?

Она назвала Наташу по фамилии – так, будто речь шла не о ней, а о третьем человеке и этого третьего человека она не одобряла.

– Два дня – это много? – беспечно спросила Наташа, выгораживая третьего человека.

– Это очень много, – с убеждением сказала руководительница выставки.

И это действительно очень много. Два дня – сорок восемь часов, 2880 минут. И каждая минута – вечность. Две тысячи восемьсот восемьдесят вечностей.

Наташе захотелось спросить: «А какое твое собачье дело?»

Но, видимо, это было именно ее дело, и именно собачье, по части вынюхивания. И она не стала бы задавать пустых и праздных вопросов. Наташа Вишнякова – не Анна Каренина, Мансуров – не Вронский. Володя Вишняков – не Каренин, хотя и состоит на государственной службе. И общество – не высший свет. Но... Наташа стояла возле руководительницы и понимала, что нужно объясниться. Объяснить себя.

– У Мансурова сейчас трудное время, – неопределенно сказала она.

Это значило: люди должны поддерживать друг друга в трудную минуту. По тезису: «Если бы парни всей земли...»

– Вы очень доверчивы, – сказала руководительница выставки. В ее тоне слышалось снисходительное сочувствие.

– Не понимаю. – Наташа как бы отодвинула это снисходительное сочувствие.

– Вас очень легко обвести вокруг пальца, – объяснила руководительница.

Наташа не знала – как лучше: продолжать разговор или не продолжать. Но в этот момент все в ней вздрогнуло и осветилось, будто сразу и резко зажгли в ней свет. Это вошел Мансуров. Она еще не видела его, но поняла, что он возник. Не вошел, а именно возник. Как на ладошке. И весь сразу. Он подошел к Наташе и выдернул ее в танец. Не пригласил. Не увел. Выдернул.

Только что она стояла и беседовала, чуть приподняв лицо. А сейчас уже пребывает в танце. Без перехода. Как в детстве или в безумии.

Мансуров качался перед ней, как водоросль в воде – замедленно и пластично. Талантливо дурачился. Маугли в волчьем хороводе. Такой же, как вся стая, и другой. А она, Наташа, почему-то хохочет. Хохочет, и все. Ничего смешного нет вокруг. Просто организм реагирует смехом на счастье. Нормальная адекватная реакция. И нечего ходить в районный психдиспансер. Печаль – плачет. Счастье – ликует. Счастье – вот оно. Ликуют глаза, руки, ноги, сердце. Быстрее и свободнее бежит счастливая кровь. Звонче стучит счастливое новое сердце. Счастливая музыка. Все вокруг счастливы. Много счастливых людей, одновременно. И даже палочка счастлива в руках барабанщика. Счастье подпирает к горлу. Давит на черепную коробку. На глазное дно. Сейчас она взорвется от счастья. А Мансуров все танцует. А музыка все играет. Наташе кажется, сейчас не выдержит. Всему есть предел. И счастью.

Музыканты опустили инструменты. Все стали растекаться к своим местам возле столов. Наташа выдохнула, будто опала. Она устала от счастья, как от физической перегрузки. Хотелось пить.

Она вернулась к столу, стала пить вино, как воду, утоляя жажду.

Подошла руководительница выставки и сказала:

– Это неправда.

– Что неправда? – не поняла Наташа.

– То, что вы мне сказали. Я все видела.

Она видела счастье между двумя людьми, и это не имело никакого отношения к взаимовыручке, хотя, если разобраться, счастье – это самая большая взаимовыручка.

– А ей-то что? – спросила бы Алка. – Ее какое дело? Он что, нравился ей?

– Он ей не нравился. В этом дело, – ответила бы Наташа. – И она не хотела, чтобы он нравился мне.

– Поздно, – сказала бы Алка.

Поздно. Поезд любви тронулся. А руководительница выставки встала между рельсами и уперлась протянутыми руками в паровоз. Но поезд тронулся, и остановить его можно было только крушением.

После закрытия выставки пошли в гостиницу. Наташа уже не могла ступать на высоких каблуках. Она сняла туфли и пошла босиком по теплому асфальту. А Мансуров нес туфли в опущенной руке. Он положил свободную руку на ее плечи, а она – поперек его спины. Они шли молча, обнявшись, как десятиклассники после выпускного бала. И казалось, что знали они друг друга всю жизнь. Десять лет просидели на одной парте. И вся жизнь – впереди.

– О чем ты думаешь? – спросила Наташа.

– У нас в кино не умеют расстреливать, – сказал Мансуров. Он думал несинхронно. – Убивать и умирать. Люди совсем не так умирают, как в кино.

– А как?

– Вот выстрели в меня. – Он протянул ей туфлю.

Наташа взяла свою туфлю фирмы «Габор», направила каблук в Мансурова и сказала:

– Пах.

– Не так.

Он забрал у нее туфлю. Отошел на несколько метров. Стал медленно поднимать, целя в Наташу. И она вдруг неприятно поверила, что в руке у него не туфля, а пистолет. На нее наведено черное отверстие дула, ведущее в вечность, как зрачок. И она вся зависит от этого черного отверстия.

– Я боюсь, – сказала Наташа.

– Ага, – удовлетворенно сказал он. – Поняла?

– Поняла.

– Давай.

Наташа взяла туфлю, отошла на несколько метров. Вытянула руку. Прицелилась, провела глазами одну линию между носком туфли и грудью Мансурова. Сосредоточилась. Ощутила жуть и сладость преступления. Ступила за предел.

– Пах!

Мансуров вздрогнул. Стал медленно оседать.

По другой стороне улицы шла патлатая компания. Они остановились и стали смотреть.

Мансуров осел на колени. Согнулся. Положил лицо в ладони. Он плакал, проводя жизнь.

Она стояла в смятении. В голове пронеслось: господи, какое счастье, что это ночь. Тепло. Что он дурачится. Мальчишка... А ведь могло так и быть. С кем-то когда-то именно так и было: лицо в ладонях, пуля в груди, и больше никогда... никогда...

– Не надо, – тихо попросила Наташа.

Он встал, подошел к ней. Они обнялись – так, будто миновали вечную разлуку.

– Ты меня любишь? – серьезно спросил он.

«Очень», – ответила она про себя.

– И я очень, – сказал он вслух. И они пошли обнявшись. Еще ближе, чем прежде. А патлатая компания забренчала и завопила в ночи, и не особенно бездарно. Даже ничего.

Мансуров спросил о чем-то. Она не ответила. Почувствовала, что не в состоянии ни слушать, ни говорить. Устала. Устала от счастья, и от сострадания, и от того, что перемешала на банкете несколько сортов вин. Одно наложилось на другое: сухое на крепленое, счастье на сострадание.

– Ты почему не отвечаешь?

– Я устала.

Он остановился. Как будто видел перед собой опасность.

– Ты что? – Наташа тоже остановилась.

Он молчал.

– Ну что?

– Будь прокляты эти выставки и премии, если ты от них так устаешь.

Володя сказал бы: «Ничего, отдохнешь... Главное – ты победила».

Маргошка сказала бы: «Нечего было хохотать и напиваться».

– ...Ты понимаешь, Алка, меня уже лет, наверное, десять никто не спрашивает: «Как ты себя чувствуешь? Что у тебя на душе?» Меня спрашивают: «Как ваши успехи? Как ваша дочь?» Да. Мои успехи. Моя дочь. Но у меня есть руки. Ноги. Морщины, в конце концов.

– Но мы же действительно не можем без своих успехов и без своих детей.

– Я сама разберусь: без чего я могу, а без чего не могу. Но мне надо, чтобы кто-то по-настоящему огорчился оттого, что я устала. Не искал причины: почему я устала и кто в этом виноват. А сам устал вместе со мной. Понимаешь?

– Еще как понимаю. Взрослые люди – тоже дети. Уставшие дети. Им еще нужнее родители.

– Господи, как нужны умные, понимающие родители.

– Просто родители. Любые. Молодец Гусев, что не поехал.

– Гусев молодец, – подтвердила бы Наташа. – Он понимает что-то большее. Одинокая замшелая бесполезная бабка, но в ней было больше смысла, чем в сорока выставках... Мы забываем за суетой о главном. О своих корнях. А потом мучаемся, мечемся и не понимаем: почему? А вот поэтому...

Наташа остановилась. Перед ней стояло дерево красной калины с замерзшими красными стеклянными ягодами. Поверх каждой грозди – маленькая белая шапочка снега. Вокруг стояли

березы, и снег лежал на них так, будто талантливый декоратор готовил этот кусок леса для спектакля. Детской сказки.

Подошел Володя и спросил:

– А где мы оставили машину?

– Ты же ставил, – ответила Наташа и прошла мимо калины. Прошла сквозь декорацию для детской сказки. Впереди просвечивало шоссе.

– Ну, я ставил, – согласился Володя. – А где я ее поставил?

– Я не помню.

– Как это не помнишь?

– Ты же знаешь: у меня топографический идиотизм.

Они вышли на шоссе. Машины действительно нигде не было видно. Может быть, они вышли другой дорогой.

– А где машина? – спросил Володя, растерянно и назойливо в одно и то же время.

– Я сейчас остановлю первый попавшийся грузовик и уеду домой, – твердо пообещала

Наташа.

– Ты можешь. От тебя это можно ждать.

– Зачем ты поехал в лес? – спросила Наташа. – Ругаться?

– А с тобой иначе нельзя.

– Со мной можно иначе.

...Самолет улетал в шесть утра. В пять надо было быть в аэропорту.

Мансуров собирал ее чемодан. Он сказал: «Сиди. Ты устала». И сам собирал ее чемодан. Каждое платье перед тем, как уложить, застегивал на все пуговички так бережно, будто оно тоже устало. Его нежность распространялась на все ее вещи. Его руки замедленно пластично плавали в воздухе. И когда он передвигался, перемещался с места на место, приходило в голову, что человек – это красивый зверь. Наташа сидела в кресле, смотрела, как он собирает ее в дальнюю дорогу, благословляя каждую ее вещичку. Спросила:

– Как ты будешь без меня?

Он ответил:

– А я не буду без тебя. Я прилечу на другой день. Этим же рейсом. Я бы полетел сейчас. С тобой. Но тебе это не надо.

Он берег ее репутацию. И платье, и репутацию – на все пуговички.

– Я прилечу завтра утром. И утром тебе позвоню.

– В девять утра, – подсказала Наташа.

– В девять утра, – повторил он. – В девять утра...

...Наташа шла по шоссе. Мимо неслись машины, и бензин оставлял после себя запах города.

– А потом? – спросила бы Алка.

– Потом было завтра девять утра. И послезавтра девять утра. И девять вечера. И целая неделя. И месяц. Он не позвонил.

– Как? – Алка остановилась бы на обочине шоссе, и глаза ее стали темные, почти черные, как шоссе.

– Не знаю, – сказала бы Наташа. – Не поняла.

– Он не приехал?

– Не знаю. Я же сказала: я ничего не знаю.

– Может быть, он покончил с собой? Может быть, его убила руководительница выставки?

– Может быть, я уже думала – несчастный случай. А мне не сообщили. Откуда они знали, что мне надо об этом сообщать?

– А может, у него нет ни копейки денег. А без денег он не хочет ехать. Из гордости.

– Может быть. А может, у него уже другая и они договариваются о новой дочери.

– Нет, этого не может быть.

– Не может быть.

– А ты сама не звонила?

– У меня нет никаких его координат. Ничего. Он исчез так, как умел исчезать только он один.

Она его нарисует. Маугли в ковбойской панаме на ладони фокусника. Был и нет.

Что это? Что это? Что???

Не девочка. И не дурочка. Но вот не понимает. Не понимает и не поймет никогда.

Сказочный лес, убранный талантливым декоратором, остался по бокам от шоссе. Белесое небо было будничным. В нем трудился самолет, оставляя после себя след, чтобы с земли была видна его траектория.

Мансуров, где ты? Легкие, прозрачные колечки лука, праздник повседневности... Взгляд вполоборота, потрясение на грани катастрофы... Новая дочка с личиком, омытым его выражением. Где это все? Где все это? Где?

– Вот машина! – обрадованно вскрикнул Володя. – Поехали!

– Поехали, – отозвалась Наташа.

«Здравствуй, моя жизнь. Магазин с продавцом, который щиплет брови. Здравствуй, мое родное одиночество и душа, неприютная, как детдомовское дитя. Да здравствует честный союз с одиночеством. Вот это не подведет».

Природа не оставляет раны раскрытыми. Она кладет на них рубцы. А рубцы – еще жестче и надежнее, чем прежняя ровная кожа. И все же рубец – это уродство. Изуродованная рубцами душа.

Мансуров глянул на нее вполоборота, те самые вполоборота, от которых сердце останавливалось... Если бы он вышел сейчас из леса на шоссе или выскочил из проходящего грузовика... Взял за руку, сказал: «Пошли!» Пошла бы и не спросила: «Куда?» Мансуров! Где ты? Ведь ты же был зачем-то? Тогда зачем?

Ехали молча. Это было молчание двух банкротов, только что отошедших от лопнувшего банка.

– Надо бы приемник купить в машину, – сказал Володя.

– Просто необходимо, – отозвалась Наташа. – Твоих барышень развлекать. Чтоб вам весело было.

– Опять, – вздохнул Володя.

– А что, нет? Не так?

Чего она ждала? Чтобы он сказал: так? Она не ревновала Володю. Это была игра в заинтересованность. Но он был не ее, значит, чей-то. Не мог же он быть ничьим. И было противно думать о возможности его двойной жизни. Для себя она допускала двойную жизнь, а для него – нет. Ей можно, а ему нельзя.

На обочине стоял старик в ватнике, черных валенках и ватной ушанке, какую носят солдаты. На ушанке виднелся след от звезды. Наташа почему-то вспомнила, что ватники вошли сейчас в моду за границей, и это резонно: они удобны, сделаны из х/б. Но если мода укрепитя, туда добавят синтетику. И будут ватники из синтетики.

Старик не голосовал. Просто стоял. Но Володя почему-то прижал машину к обочине, остановил возле старика и даже открыл дверцу. Наверное, ему тоже хотелось разрядить духоту молчания третьим человеком. Старик сел на заднее сиденье – так, будто он ждал именно эту машину и ему ее подали.

Он сел, негромко сказал:

– Спасибо. – И тут же погрузился в свои мысли.

Наташа была рада, что в машине появился третий человек, пусть даже этот замызганный старик, отдаленно похожий на японца. Молчание как бы разрядилось. Оно стало нормальным, естественным молчанием, потому что неудобно говорить о своих делах при третьем человеке.

– Вы куда едете? – спросила Наташа.

Ей было совершенно неинтересно – куда и зачем он едет, но правила гостеприимства диктовали это маленькое и поверхностное участие.

Старик посмотрел на нее, как бы раздумывая – отвечать или не поддаваться поверхностному участию. Потом сказал:

– На консультацию.

– Дать? Или взять? – спросила Наташа, удивляясь, что он знает слово «консультация», так легко его выговаривает и правильно произносит.

– Дать, – сказал старик.

Наташа внимательно посмотрела на старика, на его сухие, чуть желтоватые скулы. Он был худой, маленький, аккуратный – какой-то весь сувенирный.

– Ясновидящий, – ответил старик.

– А это как? – оторопела Наташа.

– Слово говорит само за себя, – ответил старик.

– Отстань от человека, – попросил Володя.

– Ясно – это ясно. А видящий – это видящий, – объяснил старик. – Я вижу, что будет с человеком в будущем.

– А как вы это видите? Прямо видите? – Наташа развернулась всем корпусом и открыто, почти по-детски смотрела на старика.

– Это особое состояние. Я не могу его объяснить. Но задатки к ясновидению есть во многих людях. Это можно развить.

– У меня есть задатки. Я замечаю: вот подумаю о человеке, а он звонит.

– Правильно, – согласился старик. – В быту это называется предчувствие, телепатия.

– А чем вы это объясняете?

– Я думаю, что у человека не семь чувств, а восемь. Просто восьмое чувство еще не изучено, а потому не развито.

– А когда у вас это началось?

– Во время войны.

– Расскажите.

– Не могу. Мне надо выходить.

На дороге стоял указатель в виде стрелы с надписью «Аэропорт» и возле стрелы на постаменте маленький бетонный самолет.

Володя остановил машину возле бетонного самолета.

– Спасибо, – поблагодарил старик и стал открывать дверцу.

– А что будет с нами? – торопливо спросила Наташа.

Старик вышел, задержал дверцу в руках, как бы раздумывая: отвечать или нет. Потом сказал:

– Через сорок минут в вашей машине будет тело. – Он легко бросил дверцу и пошел.

– Какое тело? – не поняла Наташа. – Чье?

– Твое или мое, – объяснил Володя.

– Это как? А сейчас мы где?

– Ты – это одно. А твое тело – это уже не ты. Душа – там. – Володя поднял палец кверху. – А твое тело тут.

– Почему мое?

– Ну, мое. Он же не сказал чье. Ну ладно. Глупости.

Володя повернул ключ, включил зажигание.

– Нет! – вскричала Наташа и сжала его руку. – Не поедem! Я тебя умоляю!

– А что мы будем делать?

– Постоим здесь сорок минут. А потом поедem.

Володя посмотрел в ее глаза, в которых не было ничего, кроме мольбы и ужаса. Один только ужас и мольба.

– Ну ладно, – согласился Володя. – Давай посидим.

Они стали смотреть перед собой, но это оказалось невыносимо – просто сидеть и смотреть и ждать нечто, что превратит тебя из тебя в тело.

– Давай выйдем! – потребовала Наташа.

– Зачем?

– Самосвал сзади поддаст...

Она вышла из машины и пошла к лесу прямо по сугробам, по пояс проваливаясь в снег. Добралась до поваленной сосны и уселась на нее, согнув колесом спину.

Володя пошел следом и тоже уселся на сосну. Стал наблюдать, как Наташа сломала веточку и начертила на снегу домик с окошком и трубой. Из трубы – спиралькой дым. В стиле детского рисунка.

– Машкин звонил, – сказала Наташа. – В гости просился.

Володя вспомнил Машкина, всегда в черном свитере, чтобы не стирать, с длинными волосами, чтобы не стричь, и с рваным носом. На втором курсе, в студенчестве, подрался в электричке, и хулиганы порвали ему ноздрю. С тех пор он производил впечатление не серьезного художника, коим являлся, а драного кота. И эта драность в сочетании с широкой известностью создавали ему шарм. Одно как бы скрашивало другое. Духовность сочеталась с приклатненностью.

Что касается известности, то она возникла и в большей степени существовала за счет того, что Машкина зажимали. Так теперь говорят. Факт зажима создавал дополнительный интерес, и когда его выставка в конце концов открывалась – а открывалась она обязательно, – на нее бежали даже те, кто ничего не понимает в живописи, и видели то, до чего не додумывался сам Машкин.

Некоторая скандальность – необходимый фактор успеха. Машкин этого недопонимал, поскольку был неврастеником от природы. Постоянно истово грыз ногти, и Володя опасался, что обгрызет себе пальцы и ему нечем будет держать кисти.

Вся кривая его творчества была неровной. Но сейчас главное не как и что. А КТО. Главное – личность художника. И неудачные работы Машкина были все же неудачами гения. А удачи Левки Журавцова были все же удачами середняка. Из Левки получился большой плохой художник.

Двадцать лет назад они все вместе учились в Суриковском институте и все трое были влюблены в Наташу. Она только тогда поступила. Первым в нее влюбился Машкин и открыл ее остальным. И когда он ее открыл, действительно оказалось, что все остальные женщины мира – грубые поделки рядом с Наташей.

После института все двинулись в разные стороны: Машкин – в славу, Журавцов – в ремесло, Наташа – в преподавание, а он, Вишняков, – в руководство. Ему предложили. Он согласился. У него всегда, еще со школы, просматривался общественный темперамент, и процесс руководства щекотал тщеславие не менее, чем творческий процесс. С творческим процессом, кстати, тоже все обстояло благополучно. Вишняков считался талантливым художником и талантливым человеком, что не одно и то же. Он талантливо делал все, к чему прикасался.

Наташа досталась ему, а не Машкину, и не Журавцову, и никому другому, потому что в Вишнякове уже тогда цвел лидер. Он мог повести за собой и Наташу, и комсомольские массы. И ему нравилось, когда за ним идут. У него даже лицо менялось. Он ощущал твердость духа,

эта твердость ложилась на лицо. Тяжелели веки. Нравилось вершить судьбы, и делать добро, и встречать благодарный взгляд. Это тоже тщеславие: состояться в человеческой судьбе.

На собраниях и сборищах Вишняков говорил мало, больше слушал. Но стрелки компаса, все до единой, были повернуты в его сторону.

После института все разобрали себе судьбы. Машкин – творчество и бедность, и возможность спать сколько угодно и когда угодно просыпаться, и не видеть того, кого не хочется видеть.

Вишняков – определенность и постоянный оклад и белые крахмальные рубашки. У него было их двадцать штук.

Журавцов поволок свою маленькую соломинку в великий муравейник. Притом поволок проторенным путем.

Наташа – отправилась сеять разумное, доброе, вечное.

Надо было выбрать между чем-то и чем-то. Каждый выбрал свое. Вишняков не знал – свое это или не свое, но тогда родилась дочь, цвела любовь и фактор процветания зависел от него.

Вспомнил, как в первый раз увидел себя в киножурнале «Новости дня». Их делегация сходила с самолета. Нефедов шел первым и помахивал рукой. А он, Вишняков, маячил в хвосте, в белой крахмальной рубашке и с нефедовским баулом. Нефедов не просил его нести. Он только сказал: «Там у меня сумка». Вишняков взял ее и понес. И в самом деле, не мог же руководитель делегации спускаться под кинокамеры крупным планом – с баулом, как дачник, сходящий с электрички.

– Соберемся? – спросила Наташа.

– Если буду жив. А если что – завещаю свои рубашки Машкину. Пообещай, что отдашь.

– Дурак, – сказала Наташа.

– А от меня, кроме рубашек, ничего не останется.

– А тот же Машкин? Не было бы тебя, не было бы Машкина.

– Ну, Машкин был бы и без меня.

– Неизвестно...

Володя вспомнил, как помогал Машкину – не по старой дружбе, хотя и по ней, а потому что считал это своим вкладом в творчество. Вклад через Машкина.

Когда Машкина зажимали, он мигал ему одним глазом, дескать: я с тобой. А другим глазом мигал своему начальнику Нефедову, дескать: я все понимаю, я с вами. И у него тогда просто глаза разъехались в разные стороны от этих миганий. И рот тоже перекосялся, потому что надо было улыбаться туда и сюда. Твердый оклад оказался тяжелым хлебом. Хотелось перестать мигать и улыбаться, а просто насупиться. Не участвовать в известном конфликте «художник и власть», где одно противостоит другому, исходя из двух законов диалектики: «отрицание отрицания» и «единство и борьба противоположностей». Случались в истории и согласия, и они тоже были плодотворны, но это уже другой разговор. А в данной истории – Машкин зависел от Вишнякова, Вишняков – от Нефедова, Нефедов – от своего начальника, а тот – от своего. И так далее, как в одном организме, где все взаимосвязано и нельзя исключить ни одного колечка в цепи.

Художник может и не зависеть, а рисовать себе одному и сохранить самоуважение. Но самоуважения недостаточно. Необходимо уважение толпы. Копить и творить – это полсчастья. А вторая половина счастья – делиться собой с другими. Отдавать свои глаза, чувства. Как в любви. Поэтому Машкину была нужна выставка, и Машкин тоже был завязан в цепочку.

Вишняков подумал, а что будет, если через сорок минут он выпадет из этой цепочки. Что изменится? На его место поставят Гладышева. Гладышев будет этому рад, поскольку надо было бы ждать, пока Вишнякова повысят или он уйдет на пенсию. А так экономия жизни. Гладышев будет доволен. Нефедову все равно. Почти все равно. А больше ничего не изменится. Место

Машкина занять нельзя. А место Вишнякова можно. И какой смысл сидеть и спасаться? Что за драгоценность его жизнь?

– Пойдем! – сказал он жене.

– А сколько прошло? – спросила Наташа.

– Сорок минут.

– Ты что? – Наташа забыла на нем свои недоуменные глаза. – Никуда я не пойду. И ты не пойдешь.

Володя поднялся с дерева, потянулся всем телом, чтобы одолжить жизненной праны у чистого воздуха, чистого неба. Снег сверкал. От дерева в глубь леса уходили мелкие следы. Кто это был? Заяц? Лиса?

Если бы можно было вернуться в двадцать лет назад и начать все сначала. Но зачем возвращаться в двадцать лет назад? Можно в любом возрасте начать все сначала, как в песне: «Не все пропало, поверь в себя. Начни сначала. Начни с нуля». Он мог бы с завтрашнего дня отказаться от своей должности, отрастить волосы, надеть черный свитер и размочить свои старые кисти. Можно даже пойти в бедность и неопределенность – жена согласится. Он в нее верил. Но что дальше? Свитер, волосы и даже бедность – это декорация. Внешний фактор. Главное – что внутри человека. А внутри он, Володя Вишняков, стал другим. Он отличался от прежнего так же, как рабочая лошадь отличается от мустанга. Или собака от волка. То и не то. Двадцать лет сделали свое дело. Уйдя с работы, он все равно останется промежуточным звеном в цепи, только с длинными волосами и без привилегий. Какой смысл? Если бы можно было, как Иван-дурак, нырнуть в три котла и выйти оттуда Иваном-царевичем. Но это под силу Коньку-Горбунку, а не этому сумасшедшему, должно быть, старику.

Значит, все будет как будет. И если этот ясновидящий действительно ясно видит и через сорок минут кому-то придется перемениться, а кому-то остаться, то пусть лучше останется жена. Она нужнее. Дочери нужнее. Ученикам, которые верят ей и поклоняются. Потом, когда они вырастут и встанут на ноги – отринут всех кумиров. Это потом уже «не сотвори себе кумира, ни подобия его». А сейчас, пока учатся, ищут себя – без кумира не обойтись. Постареет – будет внуков нянчить. Опять большая польза.

Вишняков снова сел на дерево, поглядел на жену. Она задумалась и походила на обезьяну без кармана, ту, которая в детстве потеряла кошелек. Вишняков давно не видел своей жены. Он как-то не смотрел на нее, не обращал внимания, как не обращают внимания на свою руку или ногу. Она задумалась, выражение задумчивости старило ее. Вообще она мало изменилась за двадцать лет. Вернее, в чем-то изменилась, а в чем-то осталась прежней, особенно когда смеялась или плакала. Позже всего стареет голос. Поскольку голос – это инструмент души. Талантливые люди вообще мало меняются. Они как-то меньше зависят от декораций.

– Что? – Наташа заметила его взгляд.

– Если бы я не пошел служить, кем бы я стал? Журавцовым?

– Вишняковым, – ответила Наташа.

– Ты бы хотела этого?

– Для меня это не важно.

– А что для тебя важно?

Наташа задумалась.

Нарисовала возле домика забор. Теперь в домик не войдет никто посторонний. Внутри тепло. Горит печка. Варится еда. Возле печки хозяйка. В люльке младенец. Нехитрая еда. Нехитрые радости.

Наташа вспомнила, как Володя заставил ее родить дочь. Еле уговорил. На колени вставал. Ей тогда было некогда, обуревали какие-то важные замыслы, помыслы, промыслы, конкурсы, выставки, молодые дарования. А теперь – что у нее есть, кроме дочери? Ученики? Но они

станут или не станут художниками не по ее милости, а по Божьей. И ее задача – не мешать им стать теми, кто они есть.

Когда дочка родилась, Наташа два дня рыдала от одной только мысли, что ее могло не быть.

Володя встречал ее из роддома. Нянечка протянула ему сверток, Володя отогнул треугольник одеяла, который прикрывал лицо, и встретился с синими растарашенными дочкиными глазами. Он очень удивился и никак не мог сообразить: куда же она глядела, когда одеяло закрывало ее лицо? Просто лежала в черноте? Может быть, она думала, что еще не родилась? А может быть, такие мелкие дети ничего не думают? У них еще мозги не включены?

Это было в январе. Летом они переехали на дачу. Дочке было полгода. Наташа отправилась однажды в город, мерить какие-то заграничные тряпки. Это было возвращение к прежней, добеременной жизни, и эта жизнь так поманила, что Наташа опоздала на дачу. Пропустила одно кормление. Пришлось накормить ребенка жидкой манной кашей. Володя встретил ее на платформе и официально сказал: «Ты ответишь мне за каждую ее слезу».

Каждая дочкина слеза была свята. И каждый зуб. И каждое новое слово. И сейчас нет ничего, что несущественно: контурные карты, сборник этюдов Гедике, длина джинсов, ограничения в еде. То, от чего Наташа отмахивалась, для Володи имело жизненно важное значение: не может девочка быть толстой и ходить в коротковатых джинсах. Неправильная внешность – это бескультурие. И нет ничего, что между прочим. Во всем должен быть порядок. В доме должен быть порядок – и она убирает, пылесосит, проветривает. В доме должен быть обед. И она, как на вахту, каждое утро выходит к плите. Еда должна быть грамотной и разнообразной – и она сочиняет соусы, заглядывает в поваренную книгу, и это действие из унылой обязанности превращается почти в творчество.

Семья собирается за обедом, перетирает зубами витамины, белки и углеводы. А она сидит и смотрит и испытывает почти счастье. Жизненный процесс обеспечен, и не только обеспечен, а выдержан эстетически. Грамотная еда, на красивых тарелках, на чистой скатерти. Его высочество Порядок. Порядку служат. Ему поклоняются. Порядок – это твердый остров в болоте Беспорядка. Есть куда ногу поставить. А сойдешь – и жижи полный рот. А потом засосет до макушки и чавкнет над головой. И все дела.

Что было бы с ней, если бы не было Володи? Зачем обед? Можно и так перекусить. Зачем торопиться домой? Можно ночевать где угодно, где ночь застанет. Носить с собой, как Галька Никитина, зубную щетку в сумке. А сейчас она из любых гостей, из любой точки земного шара возвращается вечером домой. И садится с семьей у телевизора. Володя – в кресло. Она с дочкой – на диване, плечо к плечу. Климат в доме – как в сосновом бору. А посади вместо Володи Мансурова – и климат переменится. То ли замерзнет дочь от одиночества. То ли Наташа задохнется от засухи. То ли вообще нечем дышать, как на Луне.

Иногда Володя приходит злой и ступает по дому, как бизон по прериям. Или наступает целый период занудства, когда он недоволен жизнью, у него такое лицо, будто ему под нос подвесили кусочек дерьма. И надо терпеть. Но терпеть это можно только от Володи. А не от Мансурова. Мансуров может вызвать аллергию, как, например, собачья шерсть. И начнешь чесаться. Почешешься, почешешься, да и выскочишь в окно вниз головой.

Да и где этот Мансуров? Ку-ку... Где он режет воздух своей иноходью ахалтекинца? В каких краях белеет его парус одинокий в тумане моря голубом? Наверное, понял, что Наташа – жертва Порядочности, и решил не тратить душевных ресурсов. Прогоревшее мероприятие надо закрывать, и как можно скорее.

Мансуров – это бунт против Порядка и внутри Порядка. Шторм, когда морю надоедают свои берега и оно бесится и выходит из берегов, чтобы потом опять туда вернуться и мерно дышать, как укрощенный зверюга.

Она вдруг подумала, что, если бы сейчас здесь появился Мансуров, подошел, проваливаясь в снег, – сделала бы вид, что не узнала. Что было, то было и так и осталось в том времени. А в этом времени есть Володя, она и их домик за забором. Если бы Мансуров, например, затеял с Володей драку, она приняла бы сторону мужа и вместе с ним отлупила бы Мансурова. Хоть это и негуманно.

Конечно, хорошо вытянуться во всю длину человека, подключенного к станции «Любовь». Но это только часть счастья, как, например, часть круглого пирога, именуемого «жизнь». В сорок лет понимаешь, что станция «Любовь» – понятие неоднозначное. Не только – мужчина и женщина, но и бабушка и внучка. Девочка и кошка. Любовь к своему делу, если дело достойно. Любовь к жизни как таковой.

Любовь к мужчине, бывает, застит весь свет, как если взять кусок пирога и поднести его к самым глазам. Глаза съедутся к носу, все сойдется в одной точке – и уже ничего, кроме куска пирога, не увидишь. А отведешь его от глаз, положишь на стол, помотришь сверху, и видно – вот кусок пирога. Лежит он на столе. Стол возле окна. А за окном – весь мир. И выйдя в этот мир, не перестанешь удивляться краскам неба, форме дерева – всем замыслам главного художника – Природы. И это не исчезает, как Мансуров. Это твое: твоя дорога в школу, твои дети, твое дело. Твоя жизнь. Ты в этом уверен до тех пор, пока ты человек, а не тело. А уверенность – те же самые сухие острова, пусть не в болоте – в море страстей. Нельзя же все время плыть. Надо и отдыхать. Его величество Покой – тоже часть Порядка. Или Порядок часть Покоя. Не успокоения, а именно Покоя, в котором можно сосредоточиться и набраться сил и мыслей для своего Дела.

Что касается вечного успокоения – если смерти надо выбрать из двоих, – пусть это будет она. А Володя останется и научит дочь таланту терпения. Поможет обрести ей дом.

Дом – это как вера. К одним он приходит смолodu и сразу. А другие обретают дом мучительно, через сомнения, страдания и потери, уходят из него, как блудные дети, чтобы вернуться обратно. Обрести и оценить.

Наташа представила себе дочь, и слезы ожгли глаза. Стало жаль ее, и Володю, и себя – меньше, чем их, но тоже очень жаль за то, что ушла молодость. Вернее, она никуда не делась, но жить осталось мало. Пусть даже – не сорок минут. Сорок лет. Но сорок лет тоже очень мало, и в каком-то смысле – это сорок минут. Во вторую половину жизни время идет скорее. Как путь под уклон.

Володя закурил. Наташа поглядела сбоку, как он курит, – на руки с почти совершенной формой ногтей. Манеру затягиваться, щурясь от дыма. Позвала:

– Володя...

Он обернулся с выражением глубокого внимания, и это выражение очень ему шло.

Наташа хотела сказать: «Я люблю тебя», – но постеснялась и сказала:

– Я завтра пойду в психдиспансер. Обязательно.

– Тогда поедем!

Володя протянул ей руку, и они зашагали по сугробам, погружая ноги в прежние следы.

Сели в машину – за пять минут до предсказания. Они просидели на дереве тридцать пять минут. А казалось – полдня прошло.

– Пристегнись! – велел Володя.

Ехали молча. Миновали старую полуразрушенную церквушку. На крыше стояла береза, пушистая от мороза, и сочетание первичной природы со стариной выглядело значительно и щемяще.

Проехали мостик над речкой.

– Хорошо здесь летом, – предположила Наташа.

Съехав с мостика, увидели бабу в трех платках и с огромным мешком. Она стояла посреди дороги и, заметив машину, не сдвинулась с места, а, казалось, подставила подол, чтобы поймать в него машину.

Объехать ее было невозможно. Она бы не позволила.

– Осторожно! – испугалась Наташа.

Володя остановился перед бабой.

– До Ясенева довезешь? – спросила баба.

Володя открыл дверь. Баба тут же влезла в машину и втащила свой мешок.

– У меня золовка в Ясеневе живет, – объяснила баба. – Я у ней переночую, а завтра с утра на базар. Там у меня мясник знакомый. Он мне кабанчика разрубит. А вам все равно в ту сторону.

Все было справедливо. Володя проверил – опущена ли кнопка. Поехали дальше.

Наташа подозрительно покосилась на мешок. Спросила:

– А что у вас в мешке?

– Так кабанчик, – удивилась баба.

– Дикий?

– Почему дикий? Из хлева.

– Живой?

– Почему живой? – опять удивилась баба. – Заколотый.

– Тело? – догадалась Наташа.

– Но почему же тело? Туша.

Баба и Наташа внимательно поглядели друг на друга. Наташа – обернувшись. Сверяла предсказания с реальностью. Баба – прямо. Видимо, Наташа ей не показалась. Почему надо везти на базар живого дикого кабана? Или почему надо покойника везти в мешке к золовке?

Наташа отстегнула ремень. Вздохнула всей грудью.

– Не будем звать гостей, – сказала она. – Ну их...

– Ясновидящий... – передразнил Володя. – Свинью с человеком перепутал.

– Так он же старый, – заступилась Наташа. – Что-то видит, а что-то нет. Как в картах.

Там же тоже фамилии не называют.

Дорога лежала ровная, просторная, не требовала к себе внимания.

– А почему вы продаете? – Наташа обернулась к бабе.

– Шесть рублей килограмм. А телятину – семь.

Наташа качнула головой.

– Дорого...

– А ты сама вырасти и выкорми, – предложила баба.

– Где? На балконе? В ванной?

– В ванне... – передразнила баба. – То-то и оно... А это я вам вашу лень продаю. По шесть рублей за килограмм. Лень дорого стоит.

Подъехали к Ясеневу.

Баба сошла и, уходя, бросила Наташе в колени мятый рубль.

– Не надо, – смутилась Наташа. – Что вы делаете?

– Бери, бери, – разрешила баба. – Щас меньше рубля ничего не стоит.

Баба ушла.

– Лошадь бескрылая, – определила Наташа и переложила рубль с колен в Володин карман. Этот рубль ей не нравился.

«Не возьму больше сумку», – решил про себя Володя и представил себе, как они сойдут с самолета, сядут в машины и поедут в гостиницу. Нефедов вдруг спохватится и спросит: «А где моя сумка?» А он ему ответит: «А где вы ее оставили?»

Въехали в город.

Предсказание осталось позади, как полуразрушенная церквушка. Может быть, старик и ясновидящий, но колдовской заряд тоже поддается времени и иссякает вместе с жизнью. На смену старым колдунам приходят новые, молодые колдуны, которые называются сейчас модным словом «экстрасенсы». Однако сорок минут кончились и можно было жить дальше – сосредоточиваясь и не сосредоточиваясь. Как получится. Его величество Порядок удобно расселся на своем удобном троне.

Мимо проехала черная «Волга». За рулем сидел Мансуров. Наташа успела заметить его профиль и взгляд, как будто он не смотрел перед собой, а прожигал глазами дорогу, вспарывал асфальт.

Она вздрогнула и задохнулась, будто ее без предупреждения ожгли бичом.

– Обгони! – приказала она, схватив Володю за локоть. – Вон ту черную «Волгу».

– Зачем? – не понял Володя, однако вывел свою машину в другой, свободный, ряд, прибавил скорость.

Машины поравнялись, и некоторое время черная «Волга» шла вровень с синим «Москвичом».

Наташа перегнулась, глядя в сторону.

– Ну что? – спросил Володя.

– Обозналась, – поняла Наташа и села прямо. Закрыла глаза, до того вдруг устала.

Володя успокоил машину, вернул ее в положенный ряд, в положенную скорость.

Это был не Мансуров. Просто похожий человек.

Но как зашло сердце...

Длинный день

В семье Владимирцевых заболела дочь Аня. Как это выяснилось? Домработница Нюра взбунтовалась от однообразия жизни, было решено отдать Аню в детский сад. Потребовались справки, проверки, анализы, и именно анализы насплетничали о скрытой болезни.

Беда приходит в дом с самым будничным лицом. В данном случае это выглядело так: Вероника Владимирцева, Анина мать, собиралась на встречу с Мельниковым. Придется отвлечься и сказать несколько слов сначала о Веронике, а потом о Мельникове.

Вероника – журналистка тридцати пяти лет, работающая в большой газете. Аню она родила в тридцать два года, хотя замуж вышла в двадцать. Двенадцать лет, вернее, одиннадцать были потрачены на то, чтобы найти себя, утвердить и подтвердить. А потом уж заняться материнством и младенчеством. Ей казалось, что рожать детей могут все: куры, кошки и собаки. А делать то, что делает она: найти тему, вскрыть ее и бросить людям, – это может только она, и в этом ее ответственность перед человечеством.

Внешне – Вероника нежная женщина, похожая на «Весну Боттичелли, с тем же самым беззащитным полуизумленным взглядом. Если, скажем, идет дождь, то даже незнакомому человеку хочется поднять ладони над ее головой, чтобы ни одна капля не упала на эту легкую светловолосую голову. Если пойти от первого впечатления ко второму и углубиться в третье, то перед вами – танк, усыпанный цветами. Кажется, что это клумба, а если подойти поближе, то под хрупкой зеленью и розовостью проступает железная броня. Нужно заметить, что очень важно, Вероника использовала свои гусеницы только в общественных интересах, в интересах человечества, чтобы заставить его социально мыслить. Ни по чьим телам эти гусеницы не шли.

Настоящий журналист не может быть аморфным. Профессия требовала мужских, бойцовских качеств. Эти же качества воспитал в Веронике ее муж, Алеша Владимирцев. Он ничего не хотел добиваться в своей жизни: ни искать себя, ни утверждать, ни тем более подтверждать. Он любил читать книги, усваивать чужой опыт. Придя домой со своей инженерно-конструкторской работы, он садился в кресло и раскрывал очередной том Диккенса. Вероника не встречала второго такого начитанного человека. Однако все необходимое для жилья, как-то: гнездо, корм, забота о потомстве, – лежало на ней. Можно было бы сесть во второе кресло – в доме их два – и достать другую книгу (у них хорошая библиотека), и самой тоже углубиться в чтение, и посмотреть, что из этого получится. Но Вероника на эксперимент не решалась. В конце концов, у ее подруг было еще хуже. Ее подруги даже не смели мечтать о таком счастье, как трезвый муж, сидящий в доме и читающий Диккенса.

На чем мы остановились? На том, что Вероника собиралась на встречу с Мельниковым, красила глаза, и в этот момент вошла домработница Нюра и сообщила с претензией (она вообще разговаривала только с претензией, ощущая зависимость Вероники и постоянно подерживая в ней эту зависимость):

– Врач Илья Давыдович сказал, чтоб пришла. Анализы неправильные.

– Почему неправильные? – спросила Вероника, не двигая лицом, рисуя полоску на нижнем веке.

– А черт его знает! – обиделась Нюра и вышла, хлопнув дверью.

Вбежала трехлетняя Аня, или, как ее звали в доме, Нютечка. Она была оформлена в соответствии с Нюриной эстетикой: байковое платье в горошек, байковые штаны спускались ниже колен. Нютечка выглядела как послевоенный ребенок. Веронике стало стыдно. Однако все на этом и кончилось. На мимолетном чувстве стыда. Вероника существовала таким образом, что каждый кусок ее жизни – месяц, неделя, день – был забит до отказа. Чтобы по-настоящему чего-то достичь, надо заниматься чем-то одним. Вероника сбавила Нютю на Нюру, и все шло относительно нормально, если не считать Нюриных выступлений. Нюра «выступала»

потому, что чувствовала себя одинокой, исключенной из интересов семьи. Она и маленькая девочка жили отдельным необитаемым островком. Мать все время «вихрилась», а отец сидел, как «сидадуха», и читал, «хоть кипятку ему под зад плесни»... Нютя обожала Ньюру, старалась ей подражать, говорила по-деревенски, употребляла полуцензурные слова, не понимая их смысла. В детстве усваиваемость замечательная. Дети одинаково хорошо усваивают и иностранный язык, и полуцензурный слог, и диалект Великолукской области.

Вероника перестала красить глаза и с пристрастием посмотрела на девочку. Вид у нее был непрезентабельный, но безмятежный и совершенно здоровый. Она была толстенькая, розовощекая, с большой башкой в шелковых волосах и «лампочками» в глазах. В ее желудевых бежевых глазах все время что-то светилось, как будто был включен свет. И когда ее фотографировали, то на фотокарточках рядом с черными точками зрачков фиксировалась белая точка внутренней лампочки. Это был свет ее жизни, может быть, таланта или напор оптимизма, который бывает врожденным, как и цвет глаз.

Никаких видимых следов болезни не было и в помине. Вероника подумала: не может так светиться больной человек. В больном человеке обязательно что-то идет на ущерб. Он может не чувствовать болезни, но светиться не будет.

Вероника успокоилась и стала дальше красить свой глаз. Нютя стояла рядом, выпятив пузо, и смотрела с немым восхищением. Все, что имело отношение к Веронике, приводило ее в особое состояние. Она обожала, обожествляла свою мать. Вероника была для нее не бытом, как мамы у всех остальных детей, а праздником. Вероника была тем, чем награждают.

– У нее вульгарный пиелонефрит, – сказал Илья Давыдович. – Либо врожденный порок почки.

Внимание Вероники зацепилось за слово «вульгарный». Она думала, что вульгарными могут быть только люди, а не болезни. Как человек, работающий со словом, она отметила, что «вульгарный» в прямом значении этого слова: примитивный, обычный. И значит, вульгарный человек – это человек обычный, ничем не примечательный.

– Почему вы так решили? – спросила Вероника.

– Стойкий белок. Лейкоциты выше нормы.

– А почему это бывает?

– Осложнение после простуды, чаще всего после ангины. Или врожденный порок.

– А что, бывают пороки почки? – удивилась Вероника. Она слышала о пороках сердца, а остальные органы, как ей казалось, пороков не имеют.

– А как же... Бывает блуждающая почка, сдвоенная почка, карман в почке...

– А почему так бывает?

– Природа варьирует... ищет... ошибается.

Вероника считала, что человек уже закончил, завершил свою эволюцию. И она удивилась, что природа продолжает работать над законченным замыслом.

– Это опасно? – спросила Вероника.

Она спрашивала спокойно, почти бесстрастно, будто речь шла не о единственной дочери, а о малознакомом человеке. Вероника считала себя не вправе нагружать посторонних людей своими личными эмоциями. Страх, внутренняя паника, угрызения совести – это ее дела, и нечего вешать такие неподъемные тюки на бедного Илью Давыдовича. Этому качеству Веронику научила ее свекровь, Алешина мать. Она говорила: «Не разрешайте подглядывать в свои карты. Вы, Ника, несделанная женщина...»

Илья Давыдович не стал отвечать на вопрос: опасно или нет? Он сказал:

– Если врожденный порок, потребуется операция. Вот вам направление в Морозовскую больницу.

Вероника взяла направление и вышла из кабинета. Постояла. Потом вернулась обратно. Стояла безмолвно. Илья Давыдович посмотрел на нее понимающе.

– Трудно дети растут... – Он покивал головой, плешивой, в редких волосиках, как у младенца. – Трудно вырастить человека.

– А в больницу обязательно? – спросила Вероника, надеясь хоть что-нибудь отменить.

– Обязательно. Надо сделать урографию. А это проводится только в стационаре.

– Что такое урография?

– В вену вводится синька, потом делают рентген почки.

Вероника представила себе, как в кровь вводят синьку, кровь становится синего цвета – и эта синяя кровь устремляется в Нютечкино сердце и в мозги.

– Это опасно? – спросила Вероника.

– Может быть аллергический шок, поэтому урографию делают в стационаре под наблюдением врачей.

Шок... операция... синька... Ее дочь окружили опасности, как волки в мультфильме, и уселись вокруг зловещим кольцом. И она, именно она и никто другой, должна встать рядом со своей дочерью и вывести ее из этого кольца. Но как?

Из больницы Вероника поехала в райисполком на встречу с Мельниковым. Встреча была назначена заранее, а отменять назначенное было не в ее журналистских правилах.

Мельников ждал ее в кабинете – крепкий, белозубый, гладкий, как промытое яблоко. Мебель в его кабинете была темная, полированная. На полках стояли призы за хорошую работу и подарки, преподнесенные иностранными гостями: парусный фрегат, Эйфелева башня. Башню, наверное, подарили французы. Кому же еще...

– Садитесь... – пригласил Мельников.

Вероника села против него, думая, однако, не о сути вопроса, а о словах: «шок» и «операция». Неужели ее маленькую девочку придется сдавать на чужие руки, на пытки, как в гестапо! И почему именно на ней природа решила искать и варьировать?

Суть же вопроса состояла в следующем: полгода назад в районе открыли музей выдающегося просветителя конца восемнадцатого века. Музей открыли в доме, где жил просветитель с такого-то и по такой-то год. В эти рамки вмещалась вся его жизнь – со дня рождения до последнего дня.

Была проведена большая работа: выселили жильцов, дали им новые квартиры с учетом современных норм на человека, отреставрировали старый дом, завезли экспонаты. Наконец состоялось торжественное открытие музея. Вероника написала статью об историческом наследии, о связи поколений, об эстафете, которую мы несем из прошлого через настоящее к будущему. А потом в редакцию пришло письмо от студента-первокурсника, который сообщил, что просветитель жил вовсе не в этом доме, а через дорогу, на уголочке. Веронику послали разбираться. Она разобралась довольно быстро: да, не в этом. Да, через дорогу, на уголочке. Произошла путаница. Как она произошла? Как всякая путаница. Сейчас в ходу слово «халатность». Кто-то проявил халатность. А может, просто честно ошибся. Да и какая, в сущности, разница – где жил этот просветитель, к какому парадному подъезду подавали ему лошадей, к тому или к этому.

– Дело в смысле его жизни, – философски заметил Мельников. – А не в месте. Место – это случайность.

– Это сейчас случайность, – сказала Вероника. – Это мы сейчас не знаем, где получим квартиру. А тот дом был домом его отца, деда и прадеда. А потом в нем жили внуки и правнуки. Дом – часть человека.

– Мы это понимаем.

Мельников называл себя на «мы». Вероника знала, что решать будет он, но Мельников пожелал сделать вид, что от него ничего не зависит, вернее, не все зависит только от него. Можно было все оставить как есть. Ничего не менять. А можно перенести музей на положенное место, но тогда опять выселять, опять выделять, опять реставрировать. Получается, что они только и занимаются просветителем, когда так много пусть менее значительных, однако живущих сегодня людей. Животрепещущих судеб.

– Дома-то одинаковые почти. Один архитектор строил, – мягко нажал Мельников и протодушно посмотрел в прозрачные «боттичеллиевские» глаза Вероники.

– Если пойти по пути «все равно», то зачем варить пищу? Можно есть сырой. Зачем одеваться? Можно завернуться в шкуры. Зачем вообще нужны просветители и память о них? Зачем нам знать, что до нас тоже жили и хотели нам добра?

– Где вы учились? – спросил Мельников, как бы снимая тему и интересуясь лично ею, Вероникой.

За этими прозрачными глазами он услышал лязг гусениц и понял, что легче вложить средства, силы и время, чем связываться с этой журналисткой и ее газетой.

– У меня два образования, – сухо ответила Вероника, не поддерживая интерес к себе. Поднялась. Первая протянула руку: – Единственное, что я могу сделать для вас, – это уйти.

Летуче улыбнулась и ушла. И, еще не выйдя за дверь, забыла и о Мельникове, и о музее. В создавшейся ситуации ей это было все равно, и именно поэтому она знала – все получится. Судьба не любит, когда от нее что-то очень требуют. Судьба любит, когда ей предоставляют право выбора.

Вероника закрыла за собой дверь. Мельников какое-то время смотрел на закрытую дверь. Он привык к тому, что все у него что-то просят, заискивая взором и вибрируя душой. А глаза этой женщины были свободны той свободой, которую дают правота и ощущение собственной человеческой значимости. Мельникову захотелось, чтобы она пришла и попросила что-нибудь для себя. Но он знал, что она не придет и не попросит. Такие для себя не просят ничего.

Аня стояла перед врачом, раздетая по пояс, благосклонно разрешая себя выстукивать и выслушивать.

Вероника сидела возле стены на стуле, подавшись вперед, смотрела на свою дочь, и в эту минуту в ней жила только мать. Не существовало ни дела, ни мужа, ни себя самой – только эта девочка с большой башкой, широкой спиной и выпяченным пузом.

– Сердечко какое симпатичное! – похвалила женщина-врач, окончив осмотр.

В Веронике взметнулась надежда. Она влюбленно посмотрела на молодую страшенькую врачиху, ожидая, что та отменит все страхи, отдаст Аню домой, и можно будет снова сдать ее на Ньюру и зажечь своей жизнью. Врач что-то написала на белом листке, потом протянула листок Веронике.

– Направление на госпитализацию, – сказала она.

– Почему?.. Ведь сердце хорошее...

– А почки плохие. Она ангиной болела?

– Болела, – вспомнила Вероника. – Весной...

– Скорее всего осложнение после ангины на почки. Советую вам не тянуть. Идет воспалительный процесс. Запустевают каналыцы...

Эти запустевающие каналыцы поразили Веронику.

– А когда класть?

– Да хоть сейчас. Чем скорее вы за это возьметесь, тем скорее закончите.

Веронике захотелось начать все немедленно. Ей казалось, что процесс «запустевания» движется неумолимо и происходит даже сейчас, когда она разговаривает с врачом. Необходимо немедленно в это вмешаться и остановить.

Она взяла Аню за руку и пошла с ней в приемный покой.

– Ты сейчас ляжешь в больницу, – сказала Вероника.

– А ты?

– А я к тебе приеду. Съезжу за твоими тряпочками и все привезу.

Аня вытащила свою руку и остановилась, не желая следовать за матерью. Вероника взяла ее за руку и повлекла, но Аня упиралась.

– Стой, если тебе нравится, – разрешила Вероника. – А я пойду.

Она пошла вперед, ожидая, что Аня побежит следом. Но Аня осталась стоять посреди аллеи, усыпанной желтыми листьями. На ней было красное пальтишко и платочек, повязанный концами назад, как у маленькой бабенки. Аня не плакала, смотрела со сложным выражением, как собака, которую ведут на живодерню и она не верит своему хозяину.

Вероника вернулась к дочери, присела перед ней на корточки и стала говорить ей, прямо глядя в глаза, апеллируя такими несложными понятиями, как «хорошая девочка» и «нехорошая девочка». Аня внимательно слушала, и в ее маленьком мозгу шла работа.

– Там хорошо, – убеждала Вероника. – Там много детей. У них есть игрушки. Я тоже принесу тебе куклу.

– Когда? – уточнила Аня.

– Прямо сейчас. Вот отведу тебя в больницу и пойду за куклой.

Аня доверчиво вложила свою руку в руку Вероники и разрешила заманить себя в приемный покой.

После некоторых формальностей: опять прослушивали, опять спрашивали, опять заполняли историю болезни – пришла большая, просторная нянечка, взяла Аню за руку и повела за собой. Нянечка была высокая, а Аня маленькая, и поднятой детской руки не хватало до взрослой ладони. Нянечка чуть подпернула руку к себе, отчего Аня вся перекосилась в противоположную от нянечки сторону, и они пошли по скользкому кафельному коридору, как по льду.

Вероника постояла оцепенело, потом вышла из больницы и помчалась в «Детский мир». Именно помчалась: бежала к такси, потом выскакивала из такси и летела по коридорам «Детского мира». Она купила самую дорогую немецкую куклу, с такой же, как у Ани, большой башкой в светлых прямых волосах, и вернулась в больницу. Она передала куклу знакомой нянечке и попросила подвести Аню к окну. Нянечка пообещала и выполнила обещание. Подвела Аню к окну.

Вероника стояла на улице. Было не холодно, но ветрено. Ветер остервенело срывал с деревьев желтые и красные листья, и, прежде чем упасть, они взмывали вверх.

Окно в Анину палату, как объяснила нянечка, было на первом этаже – третье справа. Больница размещалась в старом, прошлого века здании красного кирпича. Толстые стены, высокие окна, двойные рамы. И вот за этой двойной рамой появилось искусственно оживленное лицо нянечки и Анино лицо, скрюченное мученической гримасой плача. Она держала в руках куклу, но кукла была ей не нужна. Ей нужен был дом, мать, отец и Нюра. А вместо этого были чужие стены и чужие люди. Она еще не умела понять, что это временно, что так надо. Ей казалось, что теперь будет только так, и не понимала, почему с ней так поступили.

«Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны», – бесстрастно проговорил голос, без всякого отношения к происходящему. И действительно, какое может быть отношение к тому, что поезд дальше не идет и пассажирам предлагается подождать следующего.

Люди высыпали из вагонов. Тетка в железнодорожной шапке пошла вдоль состава, чтобы проверить, не заснул ли кто.

Вероника сошла с эскалатора, вошла в пустой вагон, уже проверенный теткой, и осталась сидеть в нем. Она не слышала предупреждения, а может, и слышала, но не пропустила в сознание. Она была отделена от всего мира беззвучно плачущим Аниным лицом.

Тетка неторопливо дошла до конца состава, потом повернулась на сто восемьдесят градусов, лицом к первому вагону, и махнула рукой машинисту. Дескать, можно ехать, все в порядке.

Молодой машинист вошел в вагон и тронул состав. Вероника покачивалась в вагоне и ничего не видела вокруг себя, кроме Ани в больничном окне.

Как все это случилось? Когда началось? Это началось весной, полгода назад. Ей предложили командировку в Ленинград.

Стало известно, что молодой ленинградский священник, обладающий замечательным голосом, решил перейти из религии в эстраду. Нужно было взять у него интервью. Вероника с радостью согласилась. Город Ленинград был необходим, как любимая книга, которую время от времени перечитываешь и испытываешь в этом потребность. Фотокорреспондент Мишка Красовицкий был влюблен в Веронику ярко и нахально. Материал со священником обещал быть необычным и, может быть, даже сенсационным. И очень хотелось высвистеть, как ветер в трубу, из своего, такого спокойного, дома, где каждый день похож на предыдущий, а предыдущий на следующий. А тут – выброс, протуберанец в город, «любимый до слез», с праздничным Мишкой, к авантюренному священнику.

Билеты были взяты на вечер, на «Стрелу», а утром выяснилось, что у Ани тридцать семь и восемь. Ангина. Илья Давыдович прописал лекарство. Нюра ходила в аптеку. Вероника складывала чемодан.

– Ты уезжаешь? – поразился Алеша.

– Но ведь ты остаешься, – резонно заметила Вероника.

– Но ты же мать.

– А ты отец.

Вероника уехала.

Священник действительно оказался обладателем прекрасного голоса, но в эстраду переходить не собирался, и с первого взгляда было понятно, что это не эстрадный человек. Он был высокий, толстый, наивный, как переросший младенец, глубоко образованный. Он пригласил Веронику и Мишку к себе домой, в большую старинную квартиру на Староневском, принадлежащую его тестю, тоже священнику. Жены не было дома, она работала в конструкторском бюро и в это время находилась на работе. Дома оказалась теща – интеллигентная сухая старушка, которая села за длинный рояль и стала аккомпанировать зятю. Сначала он спел несколько псалмов, потом несколько песен из репертуара Утесова. Голос у него был такой сильный, что закладывало уши, но пел он неартистично. Вернее, как не очень умный человек, произнося слова, но не вникая в них. Он не собирался на эстраду, но, если бы даже и собрался, комиссия его бы не пропустила.

Старушка была сдержанна, противновата. Перед тем как сесть за инструмент, спросила:

– А они понимают? – В том смысле, что стоит ли метать бисер перед свиньями.

Священник кивнул головой: дескать, стоит, можно немножко пометать. Возле дверей висела его ряса, а рядом боксерские перчатки.

Когда через час Вероника с Мишкой вышли от них, мир вспыхнул, взорвался красками и жизнью. Как будто вышли из склепа на солнце. Мишка раскрыл свой чемоданчик-дипломат, достал оттуда бутылку с ликером и сделал большой глоток. Дал глотнуть Веронике. Это был замечательный вишневый ликер «Шерри-бренди». Он еще больше обострил радость бытия, радость земной и грешной жизни. Они вышли с Мишкой на одну из многочисленных ленинградских набережных. Текла весенняя беспокойная вода, как будто тоже осознающая радость бытия. С третьего этажа по водосточной трубе слезал матрос: наверное, это была казарма или общежитие, и он оттуда убежал. Спускающийся по трубе человек вдруг приобрел в Мишкином сознании значение символа, чуть ли не предзнаменования. Знак объединения их судеб.

– Ты понимаешь? – таинственным шепотом спрашивал он.

Вероника, естественно, ничего не понимала, да и он не понимал. Просто был под градусом. Мишка тогда только начинал спиваться и везде носил с собой ликер. Именно ликер, потому что он был сладкий, являлся одновременно и закуской, и выпивкой.

Вероника не шла на поводу его предзнаменований и знаков, однако чувствовала себя девчонкой, старшекласницей, пятнадцатилетней Никой, когда каждый листик на дереве обещал счастье.

А Аня в это время болела ангиной и получала осложнение на почки. Осложнения никто не заметил. Алеша смотрел в книгу. Вероника хватала за хвост уходящую юность.

Во всем плохом, что происходит с детьми, виноваты родители, и даже если они не виноваты, то виноваты все равно.

Вероника вдруг осознала, что едет одна в вагоне. Она поднялась и увидела, что соседние вагоны тоже пусты. Одна во всем составе. Погас свет. Она неслась в черноте. Мелькали красные лампочки туннеля. Ей казалось, что это возмездие несет ее в преисподнюю, но не испугалась. Скрытое в беззвучном плаче Анино лицо вытеснило из нее страх за свою жизнь. Такая, как сейчас, она была себе не нужна.

Неожиданно поезд вынес ее из черноты в поле. Вероника плыла по осеннему полю, замкнутая в капсуле вагона. Потом в окна забили тугие струи воды. Состав пришел на мойку.

Если бы можно было пригнать на мойку всю жизнь.

Далее началось то, что врачи называют «синдромом отрыва от дома». Аня не могла жить в больнице. Она выла утром, днем, вечером и ночью, не мирясь ни на минуту с предательством судьбы. Аня выла в палате, а Нюра под окнами.

– Господи, какой ребенок противный, – поделилась с Вероникой молоденькая медсестра.

– Может быть, – согласилась Вероника. – Но нам она нравится. У нас она одна.

Медсестра задумалась: она не ожидала, что это упрямо воющее существо, залитое слезами и соплями, может у кого-то вызывать симпатию.

– Ладно, – согласилась она. – Я вам ее сейчас выведу. Посидите в ванной комнате. Только чтобы никто не видел.

Вероника постарела за эти несколько дней, осунулась, перестала краситься и уже походила не на «Весну» Боттичелли, а на бабочку-капустницу, которую вытащили из перекиси водорода. Но Ане она показалась слепяще прекрасной. Увидев мать, она вздохнула всем телом, потом разбежалась и вскочила на нее, как дикий зверек, обхватив руками и ногами. Вероника стала целовать ее личико. Аня не отводила глаз, и, оттого что Вероникино лицо было очень близко, они съехались у нее к носу. Она продолжала созерцать ненаглядное материнское лицо съехавшимися глазами.

В ванной комнате оказалась табуретка, выкрашенная белой краской. Вероника посадила дочь на колени, достала куриную ногу и стала скармливать, испуганно оглядываясь на дверь. Ане понравилась эта игра, она тоже оглядывалась на дверь и после этого кусала от курицы, хотя и не хотела есть. Она сидела, сложив руки в подоле платья, – вялая и бледная, уставшая от непрерывной борьбы.

– Если ты будешь хорошей девочкой, я попрошу нашего главного редактора – и он принесет тебе котеночка.

– Живого? – заинтересовалась Аня.

– Конечно, живого. Самого настоящего. Он будет бегать, мяукать и пить молоко из блюдечка.

Заглянула медсестра, сообщила испуганно:

– Обход. – И одновременно с сообщением схватила Аню за руку и потащила за собой.

Но не тут-то было. Аня выкрутила руку и легла на пол, чтобы быть недосягаемой. За дни, проведенные в неволе, у Ани тоже появились кое-какие навыки и средства защиты.

Вероника увидела свою дочь в этом новом качестве, и ее глаза ошпарило слезами.

– Можно, я от вас позвоню? – нищенски попросила она медсестру. От Вероникиной танковости ничего не осталось. Она сама находилась под гусеницей.

Медсестра не могла разрешить такого явного нарушения и в таких явно неподходящих условиях, условиях обхода. Но отказать этим глазам под гусеницей она не смогла.

– Ладно, – расстроилась медсестра. – Только быстро.

Телефон стоял на столе посреди коридора, сбоку от него в пол-литровой банке стеклянным букетом торчали градусники. Все вместе это называлось «пост».

Аня и Вероника вышли из ванной комнаты, побрели к посту.

Вероника набрала номер главного. Секретарша сняла трубку. Вероника назвалась.

– У него совещание, – вежливо, но определенно сказала секретарша.

– Соедините. Я из больницы.

Секретарша помолчала: видимо, ей дано было указание не связываться ни с кем из внешнего мира, но в голосе Вероники было нечто такое, что секретарша соединила. Вероника услышала чуть скриповатый голос главного, заканчивавшего фразу.

– Я знал, что будет именно так, – говорил он кому-то. – Я знал, что вы именно это скажете... Я слушаю!

– Здравствуйте. Это Владимирцева, – представилась Вероника. – Ваша сотрудница.

Главный помолчал. Он не то чтобы не помнил своих сотрудников. Он их помнил, но было трудно сразу переключиться с одной темы на другую. Так же, как тормозить машину на полном ходу в гололед.

– Я слушаю, – повторил главный.

– Вы не могли бы достать моей дочке котенка? Маленькую кошку? – разъяснила она на тот случай, если главный, далеко отстоящий от детства, забыл, что такое котенок.

– Что? – удивился главный.

– Она лежит в больнице, но она не лежит. Плачет. Я сказала, что вы достанете ей кошку. Я сейчас дам ей трубку, а вы подтвердите.

Почему Вероника звонила главному? Можно было набрать любой номер, можно никакого номера не набирать, а попросить кошку в пустую трубку, в короткие гудки, сыграть перед Аней маленький спектакль. Но Вероника не хотела обманывать дочь в ее ситуации. И еще – она не давала себе в этом отчета, но ей казалось: когда кому-то плохо в океане вселенной и он посылает сигнал бедствия, то другой, пусть очень главный, должен уловить сигнал, если у него есть улавливающее устройство. И дать ответ. «Слышу». «Плыву». А если не «плыву», то хотя бы «слышу».

Вероника протянула трубку Ане. Аня послушно прижала ее к уху. Сказала:

– Але.

В трубку, видимо, что-то говорили, потому что Аня слушала, сказала «да». Потом «нет».

Значит, главный переключился с одной темы на другую и серьезно говорил с незнакомой ему девочкой, попавшей в переплет.

В конце коридора распахнулась дверь, и в отделение вошла высокая усатая профессорша в окружении белых халатов.

Медсестра тут же нажала на рычаг, схватила Аню за руку. Аня срочно кинулась на пол, медсестра повезла ее за руку по кафелю, как санки за веревку. Это было не больно, но бесцеремонно. Аня взвыла. Вероника зарыдала и, прислонившись к стене, стала оседать, но не в обмороке, а в плаче.

Профессорша, она же заведующая отделением, остановилась против Вероники, устойчиво поставив ноги, как капитан гренадеров, и спросила:

– Это что такое? – При этом она успела рассмотреть кофту Вероники и ее сапоги, определяя и оценивая ее социальный статус.

Вероника хотела что-нибудь ответить, но лицо ее не слушалось. Она горько плакала сама с собой, понимая, что ее слезы здесь никого не тронут. Здесь трагедии – дело обычное, как градусники в банках.

– Понятно, – сказала главврач. Это она сказала себе. Дальнейший текст уже касался Вероники: – Нечего дергать ребенка и дергаться самой. Она привыкнет. У детей пластичная психика.

Вероника проигнорировала распоряжение главврача и появилась на другое утро. Приоткрыла дверь в отделение. Аня стояла в конце коридора и не отрываясь смотрела на дверь. Возможно, она стояла так всю ночь. Увидев мать, вздрогнула всем телом, крикнула: «Мама!»

В этот момент молоденькая медсестра, не вчерашняя, а другая, схватила Аню за руку и поволокла в палату. Видимо, распоряжение главврача было ей передано и даже записано в истории болезни, и она исполняла его неукоснительно.

Урография – то самое обследование, из-за которого Аню положили в больницу, было перенесено со вторника на пятницу. Почему? Нипочему. Просто так. А куда спешить? Ребенок страдает? Привыкнет. Детская психика пластична. Страдают родители? Ничего. Не помрут. Надо смотреть диалектически. У детей тоже должен быть отрицательный опыт. А взрослые – люди закаленные.

После работы пришел Алеша. В это время детей выдавали родителям для прогулки. Главврач ушла домой, и медсестра сменилась на вчерашнюю. Вчерашняя сестричка с легкостью выдала Аню. Может быть, не разделяла казарменных взглядов гренадерши, а может, просто халатно относилась к своим обязанностям.

Алеша надел на Аню красное пальтишко, повязал платочек, и они отправились в больничный двор копать в песочнице.

Здесь было много детей и много мамаш. Вероника смотрела на желтолицых одутловатых детей с настоящей почечной недостаточностью, на их родителей и понимала, что они теперь – одна компания.

Большеглазая женщина с глазами, преувеличенно большими, как у ночного зверя, жаловалась Веронике на свою свекровь.

Свекровь, женив сына, решила, что выполнила свой материнский долг, и, вместо того чтобы нормально перейти в статус бабушки, взяла да и вышла замуж, перешла в статус молодухи. Теперь она носится и дрыгает задом, который похож на раскрытый зонт. Свекровь спросила своего нового мужа: ты будешь заниматься моим внуком или на черта он тебе нужен? Поскольку в вопросе уже был вариант ответа, то новый муж им воспользовался. «На черта он мне нужен, кто он мне?» – ответил муж. И был прав. Внук ему был совершенно посторонний человек. Надо было выбрать между внуком и новым мужем. Свекровь сказала, что когда-то она уже сделала выбор между сыном и любимым человеком: выбрала сына – и всю жизнь отказывала себе в личном счастье. А теперь ей тоже хочется счастья, и это в пятьдесят-то лет. Пришлось мальчика сдать в ясли. В яслях его простудили. И вот результат: нефрит. А следствие нефрита – почечная гипертония, а в перспективе – уремия. А уремия – это гроб. От этой болезни умер Джек Лондон. И все из-за того, что свекрови захотелось счастья. Пустила по ветру родное семя ради того, чтобы обнимать чужого мужика...

Аня накладывала в ведро мокрый песок, который хорошо утрамбовывался в кулички. Алеша сидел рядом и читал газету. Он и тут читал. Вероника слушала женщину и понимала: ее ненависть к свекрови помогала ей пережить свое горе. Вероника испытывала нечто похожее на ненависть, но не к другому человеку, а к себе, хотя легче обвинить другого. Страх за ребенка – страх за свое бессмертие. Вероника со счастьем бы поменялась с Аней местами: забрала бы ее болезнь, залегла в больницу, чтобы Алеша и Аня ее навещали. Или не навещали. Это не важно.

Время прогулки окончилось. Алеша взял Аню на руки и понес к больнице. Понес не сразу, а предварительно стал увещевать и уговаривать. Аня слушала, ей очень хотелось угодить

отцу, но ее губы нервно задвигались, как бы ища место на лице. И когда Алеша понес ее к красному корпусу, она закричала сразу с самой высокой, самой отчаянной ноты, забила в его руках. Алеша повернул от больничного корпуса и понес к выходу, к воротам в конце аллеи.

– Ты куда?! – крикнула Вероника, плача.

– А ты что, не видишь, что с ней творится? – спросил Алеша.

Аня не соображала, что ее несут домой, простирая руки за Алешино плечо, вскрикивала, как птица, выдыхая крик и вдыхая тоже с криком. Алеша широко шагал, унося дочь от этих криков. Вероника не поспевала следом и перемещивала шаг с пробежками.

– Но надо же сказать! – задыхаясь, прокричала Вероника.

– Завтра придешь. И скажешь, – спокойно сказал Алеша.

В этих криках он один был спокоен и, похоже, на какое-то время подменил Веронику в танке. А она трусила рядом, не понимая его и боясь.

Неподалеку от дома Алеша спустил Аню с рук, и она шла по знакомой дорожке собственными ногами. Нюра увидела их из окна и лихорадочно замахала рукой, всколыхивая, взбивая в воздухе радостную минуту. Аня увидела, но не отреагировала. В ней не зажглась лампочка. В недельной почти борьбе истощился ее аккумулятор, и требовалось время, чтобы снова зарядить ее счастьем, вернуть в нее свет. Нюра увидела все это с высоты пятого этажа и заплакала, вытирая глаза концом платка.

Назавтра Вероника стояла перед Гренадершей, как двоєница перед директором школы.

– Вы просто выкрали ребенка, – обвинила Гренадерша.

– Она плакала, – со школьной беспомощностью оправдалась Вероника.

– Она у вас что, лишняя?

– Кто?

– Ваша дочь. У вас их что, десять?

– У нас она одна.

– Ставить единственного ребенка перед прямой угрозой...

– Угрозой чего? – оторопела Вероника.

– Жизни, чего же еще...

– Вы хотите сказать...

– Да. Именно это я и хочу сказать, – перебила Гренадерша.

– Но что же делать? – Вероника почувствовала, как погружается в океан безысходности.

О том, чтобы везти Аню обратно, не могло быть и речи. Вероника написала какую-то бумагу под названием «расписка» о том, что забрали ребенка недообследованным и всю дальнейшую ответственность... и так далее, и тому подобное.

Вероника расписалась под бумажкой и пошла из больницы. Она не знала, что у врачей есть такой прием: гипердиагностика. Завышение, преувеличение опасности. Это делается для того, чтобы в случае плохого исхода можно было сказать: «А мы предупреждали. Мы не виноваты». Чтобы родители потом не писали письма в Министерство здравоохранения и не подавали в суд. А в случае хорошего исхода все будут благодарны врачам и забудут про гипердиагностику, в крайнем случае скажут: «Вот врачи, ничего не понимают». Но от этого врачам ни холодно, ни жарко. Гренадерша страховала себя гипердиагностикой, а что чувствовала Вероника и как она шла домой – это уже не ее дело.

Вероника вернулась домой, и первое, что она сделала, – выпила стакан водки, чтобы вырвать себя из времени и пространства. Она подошла к дивану и легла. Диван то вздымался под ней, то шел вниз, как скоростной лифт.

Аня в соседней комнате играла с куклами в больницу. Она похудела и побледнела, ее личико стало прозрачным и аскетичным, как у богомолки.

Нюра не отходила от Ани ни на шаг. И даже когда нечего было делать, просто сидела и смотрела на своего перестрадавшего божка, скрестив руки на груди. Так бы и сидела, и ветер бы заносил прахом – не двинулась бы с места.

Вечером пришел Алеша. Услышал запах водки, увидел свою жену, распростертую на диване лицом вверх. Затылок онемел и одновременно раскалывался от боли, и Веронике казалось, если она поднимет голову, затылок останется на подушке.

– Встань и поставь чай, – приказал Алеша.

– Не могу.

– Можешь.

Алеша сел в кресло и развернул газету.

Вероника сползла с дивана и, держась за стену, побрела на кухню. Вид читающего мужа, как это ни странно, уравновесил ее больше, чем водка. Если Алеша сидит и читает, значит, ничего в мире не изменилось. Больница с Гренадершей удалились далеко и уменьшились до точки. А дома было все как всегда. Аня не звенела и не светилась, однако же была и топала ногами, и ее можно было потрогать и поносить на руках.

Затылок постепенно возвращался к голове, а голова к телу. Надо было жить. Надо было бороться, а не прятаться за водку.

Вечером Аня и Нюра легли спать, даже во сне не разлучая души. Вероника и Алеша сидели на кухне. Это были неплохие минуты, как ни странно. Они чувствовали себя как два солдата на передовой, когда один отстреливается, а другой подносит боеприпасы, и они не выстоят поодиночке. Они могут выстоять только вдвоем. На них шла колонна, именуемая «прямая угроза», но они были рядом и бесстрашно смотрели вперед. Иногда прежде смысл их соединения ускальзывал от Вероники. А в эту минуту все стало на свои места. И Мишка Красовицкий, с бутылкой ликера, оказался во вражеской колонне, и на него тоже хорошо бы не пожалеть патрона.

За окном висела лохматая осенняя ночь. Хорошо в такую ночь сидеть в теплом доме и знать, что у тебя есть друзья и близкие люди.

Плетеный светильник отбрасывал на потолок тень, похожую на паутину. Они сидели долго, и долго покачивался в ночи круг паутины на потолке.

В редакцию пришло письмо от рабочего Нечаева А. Б., в котором он поведал о конфликте с инженером Зубаткиным В. Г.

Конфликт возник на охоте. Они гнали зайца, бежали по осеннему раскисшему полю. Заяц широко, активно прыгал и вдруг сел, развернувшись лицом к преследователям. (Нечаев так и написал: лицом, не мордой.) Нечаев и Зубаткин бежали к зайцу, а он смотрел, как они приближаются, и не двигался с места. Было непонятно: почему он сидит? Но когда подбежали и приподняли зайца – стало ясно: у него на каждой лапе налипло по килограмму грязи, и он не мог скакать, преодолевая четырехкилограммовый груз, равный весу своего тела. Заяц это понял и остановился. Но сидеть спиной к преследователям еще страшнее, и он развернулся, чтобы «встретить смерть лицом к лицу».

Зубаткин вернул зайца на землю, сдернул с плеча винтовку и нацелился в упор, и это была уже не охота, а расстрел. Нечаев сдернул с плеча свою винтовку и нацелился в Зубаткина. И добавил, что если Зубаткин убьет зайца, то он, Нечаев, Зубаткина. Зубаткин не поверил, однако рисковать не стал. Он опустил ружье и дал Нечаеву кулаком по уху. Нечаев драться не собирался, но агрессия порождает агрессию, и он дал Зубаткину прикладом куда-то в челюсть. Посреди осеннего поля произошла большая драка с нанесением словесных оскорблений и телесных травм. А заяц сидел и смотрел, как охотники дерутся. Для него было самое время убежать, и если бы он мог, то так бы и сделал.

Вернувшись домой, Зубаткин подал в суд, хотя ударил первый... Челюсть ему починили в больнице, свинтив и закрепив какими-то штырями, и теперь он мог этой челюстью пользоваться. А Нечаева будут судить за хулиганство сроком до трех лет, и, хотя этот срок не особенно большой, у него на эти три года есть другие планы, а именно: вывести бригаду в отличники социалистического соревнования и довести сына из ясельного возраста до детсадовского.

Жена Нечаева пошла к жене Зубаткина попросить, чтобы она повлияла на мужа и тот забрал заявление из суда. Зубаткин тоже виноват, но это видел только заяц, а зайца в свидетели не позовешь. Жена Зубаткина запросила тысячу рублей деньгами, после чего жена Нечаева плюнула ей в лицо, а та в свою очередь вцепилась ей в волосы. Произошел двусторонний разрыв отношений. Нечаев просит газету помочь ему, потому что газета – это выражение общественной нравственности, а нравственность должна быть на стороне зайца, а не на стороне Зубаткина.

– Вы не хотите этим заняться? – спросил завотделом.

– Нет. Не хочу.

– Почему? – поразился зав.

– У меня дочь заболела. Поэтому.

– Дети обязательно болеют, – объяснил зав. – Иначе они не растут.

Беспечность завотдела как бы снимала опасность с Ани. Дескать, не она первая, не она последняя. Веронику гораздо меньше устроили бы сочувствие и испуг.

– А что с девочкой? – уточнил зав.

Вероника сказала диагноз.

– Это Егоров, – с той же легкостью отозвался зав. – Вы должны выйти на Егорова. В отделе науки должен быть его телефон. Он у нас несколько раз выступал на научных средах.

– Егоров? – переспросила Вероника.

– Это гений. Последняя инстанция перед Богом. Стойте здесь, никуда не уходите. Я вам сейчас принесу его телефон.

Зав исчез, будто испарился. Ему было легко двигаться, потому что у него был дефицит в весе. Он весил на двадцать килограммов меньше, чем принято при его росте, и поэтому мог подпрыгивать и парить в воздухе.

Вероника стояла обескураженная. Действительно, как можно было при ее танковом устройстве пустить Аню в поток, когда существует гений Егоров, который может то, чего не может никто.

Зав принес бумажку с телефоном из семи цифр – код от сейфа, в котором лежит Анина жизнь и ее, Вероникино, бессмертие.

Вероника вошла в свой кабинет, тут же набрала семь цифр, секретарша Егорова тут же соединила. Вероника услышала голос человека, который торопится, но не просто торопится, спасается бегством из пожара, а вокруг него все горит, трещит и рушится, и если он сию секунду не выпрыгнет в окно, то на него сверху упадет горящая балка. А тут еще звонит телефон и надо разговаривать.

– Да...

– Здравствуйте, – растерянно произнесла Вероника. Она не умела разговаривать, когда ей не были рады. А ей не были рады. Это очевидно.

– Кто это? – отрывисто, торопливо, напряженно.

– Меня зовут Вероника Андреевна Владимировна. Я мать девочки Ани Владимировны, трех лет.

– Короче, – приказал Егоров.

– У нее вульгарный пиелонефрит или врожденный порок почки...

– Запишитесь на консультативный прием. С собой должны быть рентгеновские снимки. Разговор был окончен.

– Их нет! – выкрикнула Вероника, чтобы продлить разговор. Чтобы Егоров не положил трубку.

– Сделайте.

– Это невозможно! – снова выкрикнула Вероника.

– Почему? – удивился Егоров, и впервые она услышала человеческие интонации.

– Надо класть в больницу.

– Положите.

– Она не лежит.

– Это несерьезный разговор.

Егоров положил трубку, и затикали короткие, равнодушные гудки отбоя.

Вероника зарыдала. Зав стоял рядом. Его трясло. Ему казалось, будто он схватился мокрыми руками за оголенные провода: столько накопилось в воздухе страстей, так высока была концентрация отчаяния.

Вероника рыдала, положив лицо на стол. Рухнул лик надежды, снова приблизилась козья морда страданий.

– Мне выйти или остаться? – спросил зав.

Помощь могла выразиться в том, чтобы остаться и позвонить самому либо убрать себя и дать Веронике справиться и собраться.

Вероника махнула рукой, что значило: уйти. Зав послушно вышел, но остался стоять возле дверей, чтобы никого не пускать в кабинет. Он стоял с потерянным лицом. Чужое горе достало его сквозь врожденную беспечность, доставшуюся ему по женской линии, через мать и бабушку.

Вероника перестала рыдать и просто лежала лицом на столе. Потом подняла лицо, посмотрела на часы. Без четверти три. Она дала себе еще десять минут. Сидела безучастная, отключенная от всего, глядя перед собой и ничего не видя. Когда часы показали без пяти три, она подвинула к себе телефон, набрала номер Егорова, услышала секретаршу.

– Кто спрашивает? – мягко поинтересовалась секретарша.

– Газета... – Вероника назвала свою газету.

– Одну минуточку.

Вероника снова услышала егоровское «да».

– С вами говорит газета... – сухо отрекомендовалась Вероника и еще раз назвала свою газету. Ей было безразлично: торопится Егоров или не торопится, поспекает или опаздывает. Интересы газеты на уровне государственных интересов, а больница – это часть государства.

– Да, – снова повторил Егоров, и это было совершенно другое «да». Это новое «да» означало: слушаю, слушаю вас внимательно, я готов все бросить и выслушать вас от начала до конца...

– Я хочу написать о вас очерк под рубрикой «Люди нашего города». Для этого мне понадобятся ваши три дня, скажем: вторник, среда, четверг, – потребовала, почти постановила Вероника.

– Что значит «мои три дня»? – не понял Егоров.

– Это значит, что я должна быть возле вас три дня полностью, с утра до вечера. Мне нужен ваш день в срезе.

– А ночью? – пошутил Егоров. Теперь он робел и пробивался к человеческим интонациям.

– А вы и ночью работаете?

– Нет. Ночью я сплю.

– Значит, ночь не нужна. Во сне все одинаковы. Когда я могу прийти?

– Сегодня понедельник. Значит, давайте завтра. Я начинаю свой день в восемь пятнадцать.

– Записываю.

Егоров продиктовал адрес больницы и принялся растолковывать: как удобнее добраться на общественном транспорте.

– Шофер найдет, – сдержанно прервала его Вероника, давая понять, что она относится к иному социальному статусу и не из тех, кто ездит на метро, а потом спрашивает у прохожих, заглядывая в бумажку: где такая-то больница, и такой-то корпус, и такой-то кабинет.

Она опустится на сиденье машины возле своего подъезда и поднимется с сиденья возле нужного ей подъезда. В промежутке будет смотреть перед собой, на бегущий мимо город, и обдумывать планы на предстоящий день или не думать ни о чем. Просто смотреть.

Когда зав заглянул в комнату, он ничего не понял. Вместо сломленной в плаче Вероники сидел маленький портативный танк, отделанный натуральным шелком и прибалтийским янтарем. Моторы его были разогреты, жерло направлено на цель.

– Ну так чего, займешься зайцем? – беспечно спросил зав.

– Договорились, – сказала Вероника. – Только ты меня не торопи.

Егоров сидел и отдыхал после трехчасовой операции. Ребенка привезли из-под Харькова. Пришлось оперировать по второму разу, перешивать наново, переделывать чей-то брак.

Болело плечо. Это профессиональная болезнь хирурга, когда рука все время во взвешенном состоянии. Боль угнетала, как всякая боль, и ставила в тупик. Что делать хирургу с немеющей рукой? Амосов советовал в таких случаях дополнительные нагрузки. Значит, надо оперировать не по три часа, а по шесть.

Позвонила какая-то дура, напросилась на консультацию, однако отказалась принести рентгеновские снимки. Как можно подтвердить или исключить врожденный порок, не имея рентгеновских снимков? Егоров хирург, а не ясновидящий. Он терпеть не мог мамаш-дур, потому что от их кудахтанья и суеты больше вреда, чем пользы, и хорошо бы таких мамаш изолировать от детей на время их болезни, арестовывать и брать под стражу.

Вошла секретарша Сима, внесла чай.

– Не соединяйте меня больше ни с кем, – попросил Егоров.

Сима молча кивнула. За Симой он был как за каменной стеной.

Она любила Егорова так, как матери любят своих сыновей: служила и ничего не требовала для себя. Для всех Егоров был богом, но она видела, что бог – бос, простужен и голоден. Она хотела обуть его, накормить и обогреть. А все остальные только норовили отщипнуть от него для себя. Вернее, для своих детей, а это еще больше, чем для себя, поэтому отщипывали поглубже и пообширнее.

– Маркин звонил, – сказала Сима.

– Что-нибудь передал?

– Нет. Просто так.

Это был единственный человек, который звонил просто так. Они дружили еще со школы, в общей сложности – страшно подумать – сорок лет.

Маркин женился не по любви, а потому что его Лидка была беременна. Егоров женился на своей Ирине по страстной любви. Он любил ее до умопомрачения в прямом смысле этого слова. До затмения мозгов. Маркин ему завидовал. Лидка знала, что муж ее не любит, и, чтобы удержать, почти каждый год рожала ему детей. А егоровская Ирина не хотела тратить красоту и молодость, и единственного сына пришлось вымалывать и выпрашивать ценой слез и унижений. Он любил ее долго, лет пятнадцать, а разлюбил в один день. Во вторник еще любил, а в среду проснулся свободным от нее. Может, это произошло не в один день. Был длительный период накопления, а шелчок произошел внезапно. Он разлюбил жену, а она об этом не догадывалась и продолжала быть уверена, что имеет над мужем большую власть, разрешала себе околтелость и самодурство.

Как говорил Антон Павлович Чехов: «Женись по любви или без любви – результат один». Так что у них с Маркиным был один и тот же результат, но там хоть дети, а здесь разгромные, испепеляющие страсти, которые сейчас, издалека, казались ничем.

– Ирина Николаевна, – сообщила Сима. – Будете говорить?

– Я на операции.

Егоров знал, о чем будет говорить жена. Вчера их сын привел домой невесту. Девушка была настолько зажатой, что казалась неразвитой. Она заикалась, поэтому у нее была напряжена мимика и мычащий голос. Работает продавцом в булочной-кондитерской. Как можно с ней общаться? А может быть, сыну и не нужно интеллектуальное общение. Егоров испытал глубинное разочарование в сыне и стал присматриваться: не debil ли он? Не debil, конечно. Но разве такой должен быть сын у Егорова? Сам Егоров, если сравнить его с отцом, – оторвался и взлетел, как сокол над майским жучком. А этот – выше забора не взлетит. У него вообще отсутствует летающее устройство.

– Газета... – испуганным голосом сказала Сима.

Егоров поговорил с газетой довольно вежливо. Он вообще старался не ссориться с прессой. Пресса может вызвать осложнения, а всякие осложнения мешают работе.

Часы показывали три с минутами. Надо было спускаться в конференц-зал, читать лекцию молодым врачам, приехавшим на курсы усовершенствования. Были среди курсантов молодые женщины. Егоров кидал глазами, но не прислушивался душой. Мир с некоторых пор стал казаться ему черно-белым, а не цветным. Из этого состояния могли вывести водка и любовь. Взрыв над обыденностью. Но водку он не пил, берег голову для утренних операций. А любовь требует всего человека. А всего себя у Егорова не было. Была только часть.

Вероника встала в шесть утра, чтобы к восьми попасть в больницу, подождать за дверью и войти ровно в пятнадцать минут. Не в четырнадцать и не в шестнадцать. Обязательность и точность стали редкими, почти реликтовыми качествами, и пора было вносить их в Красную книгу. Точность – вежливость королей, а поскольку отменилась эта должность, то вместе с ней отменилась и точность.

Нужно приходиться Тогда. И Такой. Но какой? Вероника красилась, продумывая: в каком виде предстать перед Егоровым? Танком? Королевой? Весной? Танк пугает. Весна будит романтические надежды. Но неизвестно, что результативнее: страх или любовь? Пусть лучше боятся, чем любят. Никакой серии очерков о людях нашего города в газете не предвиделось. Вероника грубо соврала, но не раскаивалась в проделанном: цель оправдывала средства.

Сорок минут ушло на обретение образа. Вероника остановилась на смешанном типе: взгляд Весны, прямая спина королевы и – если понадобятся – интонации танка.

Час ушел на дорогу и поиски нужного корпуса. Рядом с детской больницей, в которой работал Егоров, располагалась другая, туберкулезная. Это был целый больничный городок, и Вероника, естественно, попала не туда и потом довольно долго бродила, зажав в руке бумажку с адресом. Но в восемь пятнадцать, не в восемь четырнадцать и не в восемь шестнадцать, она постучала в нужную дверь и вошла в нужный кабинет.

Вошла. И увидела. И узнала. Она узнала его сразу, хотя в кабинете находились еще двое в белых халатах: один молодой и толстый, похожий на женщину. Другой старый и толстый, похожий на устоявшегося, вошедшего в силу кабана.

Егоров поднял на нее глаза. Полыхнул глазами, как вспышкой. Зафиксировал взглядом, будто сфотографировал.

Вероника заробела и осталась стоять. Какой там танк, какая королева? Ученица с камвольного комбината.

– Это вы? – спросил Егоров и посмотрел на часы.

Вероника глубоко кивнула.

– Молодец, – похвалил Егоров.

К людям, небрежно обращающимся со временем и с обещаниями, Егоров терял всякий интерес. Неточность и необязательность являлись для него определяющим симптомом, как, скажем, сыпь для скарлатины. Сверху точки, а внутри – серьезный разрушительный процесс. При этом заразный. Егоров старался избавлять себя от таких людей. Если бы Вероника опоздала на пять минут, то все пять минут в нем бы нарастал протест против нее. И как знать, может быть, он бы ее и выгнал.

Толстый молодой сидел с потерянным лицом, его что-то расстраивало, может быть, он был недоволен самим собой. А «кабан» был напорист, как всякий кабан, и что-то требовал. Наверное, благ.

Егоров слушал Кабана, поглядывал на молодого. О Веронике он, казалось, забыл.

У Егорова было смуглое от загара лицо, видимо, он недавно вернулся с юга, загорел, а веки остались белые. И белые лучи от морщин в углах ярких синих глаз. Время от времени он поднимал на нее глаза в лучах – мужичьи шальные глаза на барском лице. Егоров был похож одновременно на барина и мужика, будто девка-кухарка родила от молодого помещика. А может, так оно и было.

Кабан все напирал. Егоров смотрел в стол, чтобы не смотреть на Кабана. Молодой все глубже проваливался в свое одиночество. Лицо Егорова, смотрящего вниз, не освещенное глазами, было тяжелым, будто он перед этим плакал или пил. А потом умылся холодной водой.

Веронике захотелось сказать: «Не плачь. И не пей. Успокойся», – и положить руку на его немолодую, слегка волнистую щеку.

Егоров, казалось, почувствовал ее руку на своей щеке. Поднялся. Позвал:

– Идемте. – И, проходя мимо, взял за плечо. Больница – это был его лес, в котором он работал медведем.

Вышли из кабинета. Вокруг Егорова тотчас образовалась свита из халатов. Он был уже не медведь и не помещик – военачальник. Петр Первый.

Начался обход. Егоров шел впереди. Халат отдувало, как мантию. Свита едва поспевала за ним.

Первая палата была реанимационная. Здесь лежали послеоперационные и тяжелобольные дети.

Возле окна – десятилетний мальчик, бледный до зелени. Он томился, маялся и капризничал. Возле него стояла больничная нянечка и увещевала, уговаривала. Мальчик не обращал на нее внимания. Он изнемогал, скривив губы, и каждая губа выражала свое отдельное страдание.

– Уремия, – объяснил Веронике молодой и толстый. Его фамилия была Марутян.

Вероника вспомнила большеглазую женщину в больнице. Она первая произнесла это слово: уремия как конечный исход почечных заболеваний. Так вот как это выглядит.

– Дима, – обратился Егоров к мальчику, – ты почему не слушаешься?

Дима узнал Егорова и на какое-то мгновение подтянулся, потом губы его опять разбрелись по страданиям и голова не могла найти себе места на подушке.

Нянечка отозвала Егорова в сторону, что-то быстро, обеспокоенно говорила. Это была больничная нянечка, ее сердце не разрывалось от горя, но она все бы отдала, чтобы Диме стало лучше.

Егоров внимательно слушал, склонив тяжелую голову. Потом сказал:

– Ну я же не бог...

Возле дверей лежала девочка Аниного возраста. Нитки стягивали свежий разрез на животе. Разрез и нитки были коричневыми от йода. Девочка тяжело, судорожно вдыхала. Набрать в себя воздух было для нее непосильной работой, и ее маленькое тельце содрогалось от вздохов. Выдохов не было видно и слышно, и казалось, что она только втягивает воздух и не может как следует вдохнуть.

Веронике стало душно. Она положила руку на горло.

– Ничего не нашли, – сказал Кабан. – Скорее всего это была просто кишечная колика.

– Значит, напрасно разрежали? – уточнил Егоров.

Все промолчали.

Вот, значит, как бывает в последней инстанции перед Богом. Напрасно разрежали, только и всего. Родители принесли в больницу живую и почти здоровую девочку. А что им вернут обратно... Да и вернут ли.

Егоровская рука легла на ее плечо. Он вывел ее из реанимации. Шел, насвистывая. Вероника поняла: история с девочкой воспринимается им как производственный брак. Должен же быть какой-то процент брака, должны же врачи набирать опыт. А опыт складывается не только из удач, но и из ошибок.

Вошли в операционную. Вероника не сразу поняла, что это операционная. Потом увидела на столе грудного ребенка. Разрез делали не скальпелем, а ножницами. Подрезали под лопаткой, лопатка отделилась, как у цыпленка.

Вероника повернулась и быстро вышла из операционной. Марутян вышел следом.

– Вам не надо заходить, – проговорил он. – Разве можно заходить, когда нет адаптации?

– Я журналистка, – оправдываясь, сказала Вероника.

– А журналисты что, не люди?

Из операционной вышел Егоров в прекрасном, жизнеутверждающем расположении духа. Подхватил Веронику, она стала привычной, как трость, повел обратно в кабинет. За ним парила его свита.

В кабинете Егоров отвечал на звонки, отдавал распоряжения секретарше Симе и, казалось, забыл про Веронику. Она стояла, отвернувшись от всех, и плакала.

Егоров не замечал ее слез. Ему, наоборот, казалось, что он оказывает Веронике особую, почти царственную милость. Она должна быть профессионально довольна и человечески польщена.

– Не поворачивайтесь, – попросил он. – Я переодеваюсь.

Вероника слышала, как он двигал вешалку, шуршал одеждой, насвистывал песню из репертуара Пугачевой.

– Я готов! – радостно сообщил Егоров.

Вероника не оборачивалась. По ее напряженной, странно притихшей спине Егоров понял, что она плачет. Это не входило в его жизнеутверждающую программу. И было некогда.

– Ну-у... – разочарованно протянул Егоров. – Это никуда не годится.

Егоров избегал минусовых людей и минусовых настроений. Он ждал душевной дезинфекции, а не новой заразы.

Вероника чувствовала свою неуместность. Она не нужна была ему такая. А другой она быть не могла. И Вероника плакала от двойного одиночества: от своего собственного и оттого, что ее горе в тягость.

Заглянула Сима.

– Я сейчас на консультацию. А потом на ученый совет. Если позвонят, я уже выехал.

– Машина у подъезда, – сообщила Сима.

– Вы едете? – спросил Егоров.

Вероника вытерла тщательно покрашенные утром, а теперь поплывшие глаза. Не королева, не танк и не Весна. Горестная лужа.

Вероника и Егоров вышли из корпуса. Он уже не выводил ее за плечо, а сильно вырвался вперед.

Возле дверей на улице, как маленькая толпа поклонников, стояли родители и ждали Егорова. Вероника обратила внимание на цыганку с ребенком на руках. Другой ребенок держал ее за подол. Молодой мужчина стоял с неподвижным лицом. Слез не было и мимика спокойна, но

Вероника видела, что он плачет. Может быть, это был отец Димы или того ребенка, которого разделявали ножницами.

Люди стояли и ждали. Их было немного, меньше десяти, они сгрудились маленьким испуганным стадом.

Увидев Егорова, они раздались на две стороны, давая дорогу. Егоров прорезал эту толпу, прошел сквозь, не глядя, как будто их не было.

Вероника прошла следом за Егоровым, готовая провалиться сквозь землю. Она сама только что была на месте этих людей, но ей удалось протыриться, именно протыриться, другого слова не сыщешь, в егоровское окружение, в сопровождающие его лица. Но она знала, каково ТАМ. Там, где ты глубоко несчастен и тебя унижают. Бьют лежачего, а ты стараешься поймать эту ногу и лизнуть ботинок.

– Садитесь. – Егоров открыл дверцу машины.

На них смотрели, повернув головы или повернувшись всем телом.

– Я не поеду, – отказалась Вероника.

– Почему? – удивился Егоров.

– Мне неприятно.

– Не понял, – нахмурился Егоров, опустив голову, выставив вздыбившиеся брови.

– Почему вы ходите сквозь людей, как звезда эстрады. Вы же врач, а не певица. Они же вас ждут. У них больные дети.

– Это детская больница. И естественно, что здесь лежат больные дети. Дети болеют. И даже умирают. И детская смертность входит в профессию. Вы хотите, чтобы я стоял и вытирал всем слезы?

– Да. Хочу. Родители бесправны. Я хочу милосердия. А вы жестоки. И это безнравственно.

– Я не понимаю, кто к кому пришел: я к вам или вы ко мне? Это вы ко мне напросились с вашей газетой. Я вам нужен. А вы мне мешаете. И я вас, извините, терплю. Но больше терпеть не намерен. Вам понятно?

Егоров заметил, что последнее время он терял самообладание легко, а восстанавливался трудно. Любой мелочи было достаточно, чтобы выбить его из колеи на целый день. А день был нужен.

– Потрудитесь оставить меня в покое.

Егоров сел в машину и уехал. Вероника осталась стоять перед больничным корпусом.

В окне второго этажа сидел мальчик в пижаме и походил на арестантика.

Зубаткин был похож на Кирибеевича из песни о купце Калашникове – та же обаятельная наглость, веселая ухмылка хозяина жизни. Он смотрел на Веронику с таким видом, будто это она сидела в его кабинете, а не он в ее. Зубаткин знал, что юридические законы на его стороне, а морально-нравственные категории – это что-то весьма неопределенное и неосязаемое, как облако. Сейчас оно круглое, потом продолговатое, а потом его и вовсе нет, рассеялось как дым. Нравственность у каждого своя. Как почерк.

– Здесь сказано: вы бежали за зайцем, – напомнила Вероника.

– Собака бежала, – уточнил Зубаткин. – Я же не эфиоп.

– При чем тут эфиоп?

– Эфиоп – лучший в мире бегун на дальние дистанции.

– А куда собака девалась? – спросила Вероника.

– Она отвлеклась на другую дичь. Собака очень глупая.

– Это ваша собака или Нечаева?

– Естественно, Нечаева. У меня не могло быть такой собаки.

– Вы согласны с тем, что написал Нечаев? Это так и происходило?

- Если отбросить оценки и писи-миси, то примерно так.
- Значит, вы хотели убить зайца, который не мог от вас убежать?
- Охота – это охота, а не писи-миси.
- Оставьте, пожалуйста, свой слог. Разговаривайте нормально.
- Пожалуйста, – весело пообещал Зубаткин. – Объясняю вам, филологам: охота – это охота. На охоту берут ружье. А из ружья целятся и стреляют.
- Охота – это охота, а не убийство. Зверь и охотник должны быть на равных.
- Вы хотите, чтобы у зайца было ружье?
- У вашего зайца не было ног. Вы не имели права в него целиться.
- Значит, целиться в зайца нельзя, а в человека можно?
- Не притворяйтесь, – предложила Вероника.
- Я не притворяюсь. Я действительно не понимаю: что вы от меня хотите?
- Я могу ответить честно?
- Ну конечно.
- Чтобы вы были другим. Или чтобы вас не было вообще.
- Я вам больше не нужен?
- Не нужен.
- А жаль...

Зубаткин поднялся и пошел из кабинета. Он был стройный, развернутый, как человек, занимающийся спортом. Перед тем как выйти – обернулся и посмотрел на Веронику, как бы раздумывая: прихватить ее с собой или нет. Решал он, а не она.

Зубаткин вышел из кабинета. Вероника некоторое время смотрела на дверь. Она мысленно продумывала статью, которую напишет – или не напишет. Обычно идея, решение проблемы приходило через несколько дней. Так всплывает однажды услышанная мелодия. А сейчас она как бы вспахивала верхний, на поверхности лежащий слой.

Зачем человек ходит на охоту? Чтобы вернуться к своим истокам, к тому времени, когда сам был древний, почти такой же, как эта природа. Лес, трава, небо и звери – это то, что было до нас, есть сейчас и будет после нас. Современный сегодняшний человек набит информацией, нагрузками, стрессами, но он вешает на плечо ружье и уходит к деревьям, к самоуглубленности, к тишине, чтобы ото всего отрешиться, очиститься, слиться с природой и услышать в себе древний охотничий инстинкт, выследить и подстрелить опасного или большого зверя: кабана или лося. В конце концов, можно подстрелить и зайца, когда ты с ним на равных. Когда у тебя ружье, а у него ноги и лес.

Зубаткин пошел просто за мясом. Ни природа, ни самоуглубленность его не интересовали. Но разве Зубаткин одинок в своем циничном потребительстве? Недавно Вероника ездила в маленькую капиталистическую страну по туристической путевке. Все первые этажи зданий – магазины. Некогда духовная нация поэтов и философов вся вылезла в магазины. И никто не читает в метро. Имеет значение только то, что можно на себя надеть или съесть. Что пощупать и чем насытиться. Значит, Зубаткины идут по земле целыми колоннами. А Нечаевы ничего не могут сделать. Они же еще и виноваты. Хотя нечаевское противостояние – тоже не метод. Кулаком в челюсть Зубаткиных не остановить. А КАК?

Вероника решила передвинуть свои мысли из мозга в подсознание. Не думать какое-то время. И решение, зерно статьи, вдруг вспыхнет само собой, как однажды услышанная мелодия.

Аня вошла в дом с истошным ревом. Ее глаза вытаращились от напряжения, лицо было мокрым от слез, она орала во всю силу, на которую была способна. Нюра шла следом, громко бранясь.

Вероника заметалась от одной к другой, чтобы понять, что произошло. А произошло следующее: Аня нашла возле помойки лошадиный (а может, собачий) зуб и хотела его пососать. А Нюра вырвала из рук находку и закинула в середину лужи. Аня побежала к луже, а Нюра догнала и нашлепала при большом скоплении детей. И все видели. Аня претерпела два вида ущерба: моральный и физический.

– Дуя! – кричала Аня. (Что означало «дура».) – А-а-а!

– А ты какая? – обижалась Нюра. – Всякую гадость в рот жрать.

– Дуя! Дуя!

– Слышала? – Нюра выкидывала палец, призывая Веронику в свидетели. – Обзывается, шалыга чертова. Не. Мне такой ребенок не нужен.

Нюра действительно обижалась, потому что у нее действительно никого в жизни, кроме Ани, не было. Но и Аня оказалась неблагодарная гадина, значит, нечего рассчитывать на душевное пристанище.

– Аня! Как тебе не стыдно! – Вероника кинулась успокаивать, обнимать дочь. – Хочешь, я подарю тебе пуговицу?

Аня не могла успокоиться сразу. Лоб у нее вспотел от крика и горя.

Вероника прижала ее к себе, маленькую и вздрагивающую, вспомнила больницу, а точнее, она ее не забывала ни на минуту, и подумала о тех испытаниях, а может быть, и пытках, которые ждут ее дочь. Как она могла свои сиюминутные эмоции поставить выше главной задачи?! Главная задача – здоровье Ани. Значит, надо было ехать с Егоровым и приучать его к себе. За три дня он мог к ней привыкнуть и считать знакомой. А знакомому человеку отказать труднее, чем незнакомому. Вместо этого она полезла со своей правдой, которая сейчас, изда- лека, казалась сомнительной. У каждого из стоящих внизу родителей болел свой единственный ребенок. Но у Егорова их сотни и тысячи. И ему действительно некогда каждому вытирать слезы. И почему надо скидывать на него свои эмоции? Наоборот, его нужно от них оградить. Вероника – как нечаевская собака, которая неслась за зайцем, а по дороге отвлеклась на другую дичь и в результате подставила своего хозяина. Вероника подставила свою дочь. Она решила тут же исправить, выровнять просчет любой ценой. Даже ценой унижений.

Вероника посмотрела на часы. Было четверть пятого.

Она спустилась вниз. Поймала такси. Поехала в клинику.

Все ее существо сконцентрировалось на одной-единственной задаче: видеть. Она была уже не танк, а боевая ракета с запрограммированным управлением. И свернуть ее с курса могла только другая такая же ракета.

– Он не вернется, – тихо сказала Сима, ненавязчиво рассматривая Веронику.

Она ей нравилась. Симе вообще нравились женщины – иные, чем она сама. В Симе совершенно отсутствовали зависть и соперничество – чувства, которые сопровождают почти всех женщин в продолжение всего их жизненного пути. Сима была божий человек.

– А где он может быть? – осипшим голосом спросила Вероника. – Это очень важно.

– Позвоните домой.

Сима написала на отдельной бумажке домашний телефон Егорова и пододвинула Веронике аппарат.

Трубку взял Егоров. У Вероники сердце замерло и обвалилось.

– Его нет дома, – сказал голос Егорова.

– А вы кто? – удивилась Вероника.

– Я его сын.

– А где ваш папа?

– Сейчас я позову маму.

Подошла жена Егорова. Голос у нее был низкий и неокрашенный, как гудок. Такие голоса бывают при полном отсутствии музыкального слуха.

– Он на ученом совете, – прогудела жена.

– А это где, простите?

Жена назвала улицу и номер дома. Слово и цифра моментально вошли не только в память Вероники, но и в ее кожу.

– Это журналистка Владимирцева, – запоздало представилась Вероника. Видимо, это прозвучало как «извините», потому что жена ответила:

– Пожалуйста.

В голосе жены не проступало ни раздражения, ни лояльности. Егоров был врач, звезда первой величины, и она привыкла к постоянной его востребованности. А может быть, у нее был голос-альбинос, от природы лишенный красок, и она горевала и радовалась одним и тем же голосом.

Фамилия выступавшего была Пяткин. Профессор, сидящий рядом, шепнул, что по национальности он финн. Егоров подивился, что это за финн с фамилией Пяткин. А впрочем, какое это имело значение. Пяткин говорил и замазывал словами суть. Егоров ознакомился с его диссертацией. Она была добросовестна и громоздка. Чувствовалось, что Пяткин не один год просидел за столом, нажил седалищную мозоль, как у макаки, однако ничего нового во внутриутробной диагностике не открыл. Все то же, что было, но с оттенками.

Пяткин был худ, блес, бесцветен. Но на него с первого ряда взволнованно и восхищенно смотрели две женщины: пожилая и молодая. Видимо, мать и жена.

Егоров посмотрел на всех троих и подумал, что надо одобрить диссертацию, пусть Пяткин станет кандидатом и получит кандидатскую зарплату. Зарплата врача без степени – это пособие по безработице. Как им платят, так они и работают. От таких равнодушных тружеников – ущерб государству. И перекос в семье. Когда муж не может содержать семью, он не хозяин в доме. У него нет авторитета, и это влечет далеко идущие последствия. А поскольку семья – ячейка общества, получается перекос в обществе. Если же поднять мужчине зарплату, это сделает его хозяином в доме и автоматически выровняет общество. Значит, от того, что Пяткин станет кандидатом, – большая общественная польза. Правда, внутриутробная диагностика будет пробуксовывать на месте, как застрявшая машина. Но придет другой и продвинет науку. Один будет буксовать, другой двигать, а получать они будут одинаково.

Егоров снова посмотрел на мать. Они с Пяткиным были похожи, но мать красивая, а сын нет. Должно быть, рано родила. Первый ребенок. Пробный. Егоров в секрете ото всех и от себя считал, что первый блин – комом. Наиболее удачные дети от пятой, шестой беременности. Но кто сейчас рождает пять-шесть раз? Только разве Лидка, чтобы удержать своего мужа. От Пяткина Егоров переключился мыслями на своего сына. Этот ординарен и усидчив. А тот ординарен и ленив. Егоров вспомнил своего отца, Тимофея Егорова, который был сапожником и пьяницей. В деревне его звали Тюнькой. И когда он сейчас приезжает в деревню, то бабы говорят: «Вон Тюнькин сын». Думал ли Тюнька, что его сын станет ученым, поднимет фамильную планку так высоко, что и не перепрыгнешь. А Вадик – Тюнькин внук – гораздо ниже деда. Тот землю пахал, сапоги тачал, водку пил, успевал себе и людям. А этот – ни себе, ни людям.

Егоров снова посмотрел на мать, потом на молодую. Молодая была незаметная, со скромным оперением, как птичка жаворонок. Но была в ней тихая нежность и своя красота. Тюнька любил красивых баб. Он говорил в старости: «Умирать пора, а они все ходят». Егоров вспомнил сегодняшнюю журналистку с размазанной по лицу краской и слезами. Чего она от него хотела? Почему плакала? Что привело ее в ужас? То, к чему Егоров давно привык. Он привык к тому, что мир стал черно-белым, к безлюби, к тому, что дома его не кормят и он сам готовит себе еду. К тому, что приходится брать на работу по протекции, что няньки пьют, а врачи берут подарки. Что в отделении тараканы. Что все его употребляют и никто не любит. Сначала все это его огорчало, и он тоже плакал. А теперь по привычке. Он уже давно не плакал,

лет двадцать. Разве только во сне. Во сне он иногда испытывает горе и счастье – такие глубокие, как в детстве.

Природа задолго готовит человека к смерти. Она делает его все равнодушнее, потихоньку гасит в нем свет, как служитель театра после спектакля. Сначала гасит свет на сцене, потом в зале, потом в фойе и напоследок в гардеробе. Егоров ощущал себя, как полуосвещенный, а вернее, полутемный театр. Ему тайно мечталось, чтобы кто-то вбежал в театр, включил рубильники и зажег все люстры на полную мощность. Но он знал, что никто не вбежит и не включит. Его все использовали, и никто не любил. А если и любили, то вместе со своими надеждами. И он никому не верил. Но и безверье не тяготило Егорова. Он и к нему привык.

Пяткин закончил свой псалом. Теперь была очередь оппонентов.

Вероника остановила такси. Улица, на которую торопилась Вероника, была почти рядом, и она боялась, что таксист заупрямится.

– Вперед, – скомандовала Вероника, не называя адрес.

– Куда? – спросил таксист.

– Я покажу.

Таксист тронул машину. Ехать без адреса было неудобно, но пассажирка сидела, как главнокомандующий. Через сорок копеек она остановила.

– И все? – оскорбился таксист.

– И все.

– Могли пешком пойти.

– А вы зачем? – поинтересовалась Вероника.

Таксист посмотрел на нее как на ненормальную.

Он давно приспособливал пассажиров к своим маршрутам, и кто кого выбирал – это еще вопрос.

Вероника заплатила двойную цену, на языке таксистов это называется «два счетчика». Хлопнула дверью и ушла.

Таксист включил зажигание и поехал, раздраженный, в поисках нового пассажира. Теперь он не даст себя одурачить так просто. На следующем он отыграется. А следующий шел себе во времени и пространстве и не ведал, что на нем будут отыгрываться за чужое зло.

Вероника вошла в зал. Села в заднем ряду, чтобы не мешать и не привлекать к себе внимания. Но она ничьего внимания не привлекла, оставалась незамеченной. Над залом, как туман, висела скука. Потом все задвигались, подтянулись. На трибуну вышел Егоров, и сразу туман рассеялся, вошло солнце. У Вероники вздрогнуло под ложечкой. Она поняла, что душа живет именно там, в районе солнечного сплетения.

Егоров поднял глаза. Они были синие, в белых лучах. Такие глаза бывают у летчиков. Они летают над облаками, где солнце сияет постоянно. Он начал говорить. Вероника вначале пыталась слушать, но потом потеряла смысловую нить, поскольку слабо разбиралась в медицине, и дальше уже просто смотрела, как он говорит. Егоров был не молод и не стар – в том возрасте, когда форма и содержание сливаются воедино. Форма еще не начала разрушаться, а содержание достигло своего расцвета. Он сочетался со своими жестами, голосом, был един и гармоничен и действительно походил на летчика, который несет над облаками свою науку. От его рук и лица исходила мужская сила. Он крепко держал свой штурвал в мужичьих руках. Егоров был человеком дела. Если бы он, как Алеша, сел в кресло с книжкой и несколько дней подряд просидел в бездействии, он бы умер от инфаркта. Он не приспособлен для созерцания и ничегонеделанья. Как, наверное, приятно поднести ему утром наглаженную рубашку, а в обед поставить перед ним полную тарелку с борщом. Он, как мужик, приходит усталый со своего поля и заслужил хлеб свой.

Вероника вспомнила, как недавно возвращалась от подруги Эмки, которую звала «декабристкой» за худобу, категоричность и белые батистовые кофточки. Было поздно, такси не попались, и Вероника остановила поливальную машину. Шофер, молодой парень, покосился на нее и сказал:

– Сейчас я заеду в одно место, отвезу холодильник «Морозко», и поедем погуляем.

Видимо, он принял Веронику за женщину определенного рода.

– Сначала отвезите меня домой, – сухо ответила Вероника, – а потом можете ехать по своим делам.

Он понял, что она не «такая», и не огорчился. Ему было все равно. Получится – хорошо. Не получится – ничего страшного. Можно так, можно так.

Вероника подумала, не тогда, а теперь, в зале ученого совета, что Алеша со своей аморфностью и долготерпимостью совсем «освободил» ее, и она – как непришитый рукав. А что такое один рукав без пиджака? Кстати, как и пиджак без рукава. Вот это и есть графический рисунок их жизни: пиджак отдельно, рукав отдельно, на пиджаке вместо рукава – зияющая дыра, а сам рукав вне пиджака. Что это? Труба? Штанина?

Однажды, кажется, в тот же вечер, Вероника спросила у Эмки:

– Какие обязательства выполняет твой муж?

– Деньги и мясо, – ответила Эмка. – А твой?

Вероника подумала и ответила:

– Ночует дома.

– И все? – поразилась Эмка. – А зачем он тебе?

– Он хороший.

А можно ли сказать о Егорове: он хороший или «хороший парень». Нет, это что-то совсем другое. Как река, со своими воронками и омутами, подводными течениями. Интересно, а какие на нем лежат обязательства в семье? Наверное, деньги и базар. Мужчина сам должен ходить на базар, выбирать мясо и зелень. Но есть вещи поважнее: круг общения. К нему тянутся люди, как к реке. К явлению природы. Интересный человек – это ведь тоже явление природы. Она и сама тянется к нему, даже про дочь забыла. Сейчас сильны не родовые кланы, как в прошлом веке, а кланы единомышленников. Зубаткины собираются в свои кланы, а Нечаевы в свои. Он бы взял ее в свой егоровский клан, она бы чувствовала себя в нем уверенно и спокойно, как в родительском доме.

Мясо, друзья, клан – это много. Но он бы дал ей себя. Свой голос и жесты. Свое тепло и глаза, синие до подлости. Свои руки и свой шепот.

Вероника смотрела на Егорова не отрываясь, впитывая его в себя, как лист воду. Недавно обнаружили растение, которое может тысячу лет прожить в состоянии анабиоза, но если его поместить в воду – тут же начинает оживать.

Хорошо, что Егоров не видел ее и не мог читать ее мысли.

Егоров собрал свои листки и сошел с трибуны.

Все поднялись, задвигались, устремились к нему, как железо к магниту. Две женщины – молодая и пожилая – протиснулись к Егорову, что-то заговорили приподнято-возбужденно, только что не обнимали. Егоров улыбнулся. Улыбка у него была детская, изумленно-радостная. Лицо его менялось от улыбки, как будто солнце выглянуло из-за туч: только что все в тяжелой хмари – и вдруг в ясности и празднике сверкает каждая травинка.

Вероника вдруг испугалась, что он ее увидит, подойдет и скажет: «Я же просил вас оставить меня в покое». Но Егоров не заметил и не подошел. Зато подбежал Марутян.

– Вы здесь? – грустно обрадовался он. – Пойдемте с нами.

– Куда? – не поняла Вероника. Она была благодарна Марутяну за то, что он случился около нее в эту минуту. У него была способность возникать вовремя.

– На банкет. Пяткин празднует победу в ресторане «Прага». Неудобно не пойти. Все-таки результат труда.

– А я при чем?

– Вы красивая. А красивая женщина всегда при чем. Хотите, Пяткин вас сам позовет?

Марутян приглашал и делал комплименты, но его лицо продолжало быть несчастным. Может быть, в нем была глубинная, незаживающая боль. А может, он просто был так устроен: существовал на волне, которая ловит мир через трагедию.

В этот момент Егоров заметил Веронику. Они на мгновение сшиблись глазами. Вероника тут же их отвела, как бы давая понять: она не забыла его хамства и только профессиональный долг и обязательства перед газетой вернули ее в этот зал.

Егоров прошел мимо.

– Пойдемте? – обреченно попросил Марутян.

– Я не могу, – отказалась Вероника. – Мне надо быть дома. У меня ребенок болен.

– Ну вот. Опять больной ребенок. А здоровыми они бывают?

Дома все было как всегда.

Алеша подогревал себе скучный Нюрин обед. Кулинарка из Нюры была бездарная, к тому же она боялась тратить хозяйские деньги. Экономила. Кресло, протертое до дыры, покорно дожидалось Алешу из кухни. Он поест и сядет. Рядом на журнальном столике уже лежали «Правда», «За рубежом», «Литературная газета». Работы ровно на вечер.

Аня и Нюра сладко мирились в соседней комнате. Они ругались и мирились на равных, несмотря на то что одной было три года, а другой семьдесят. Аня еще не вошла в ум, а Нюра уже немножко выжила. Их умственные способности были идентичны.

– А зачем ты обзывалась? – упрекнула Нюра. – Говорила на бабушку «дура». Это что ж такое?

– Потому что ты моя, – объяснила Аня. Она полагала, что чужому человеку невозможно сказать «дура». А своему можно. Так что «дура» – это подтверждение доверия и любви.

– Не. Я так не согласная. – Нюра требовала не только внутренней любви, но и внешнего уважения. Соблюдения этикета.

– Согласная! – завопила Аня. – Согласная! Дуя!

После больницы Аня стала неуправляемой. Чувствовала, что ей все дозволено.

– Во! Опять! Опять! Я с этой девкой жить не буду! Въеду!

«Въеду» значило «уюду».

– Въеду – и усе.

Сейчас они с воплями и криками выйдут за истиной. Так оно и вышло.

– Идите к отцу! – махнула рукой Вероника и пошла к своему письменному столу.

Она решила поработать, работа всегда возвращала ей состояние равновесия с внешним миром. Подвинула начатую статью о Зубаткине. Статья называлась «Убийцы». Это название показалось лобовым и бездарным. И вообще вся она, Вероника Владимирцева, – бойкая и пробивная, может, даже умная, – но к таланту эти качества не имеют никакого отношения. В таланте главное – интуиция, а не мозг. Мозг – это ум. А интуиция – подсознание. Гении и женщины должны быть интуитивны.

Вероника отодвинула статью. От каждой строчки к лицу поднималась бездарность, как запах рыбы из кухни. Ее переполняло отвращение к себе, к дыре на обивке кресла величиной с обеденную тарелку, к идиотке Нюре. Обида на заболевшую Аню. Эта болезнь за волосы пригнула Веронику к земле, не поднять головы, не увидеть неба. Напрасно отказалась от ресторана. Сидела бы сейчас в веселье и празднике, выпила бы шампанского, помирилась бы с Егоровым. Судьба подсунула ей шанс, а она – вместо того чтобы использовать – встала и ушла. Что ею двигало? Ложно понимаемое чувство собственного достоинства. При чем тут собственное

достоинство, когда в ребенке идет процесс разрушения и каждый час заустевают каналы. И саму ссору тоже нельзя запускать. Ссора разъедает нутро, завтра помириться будет уже труднее, а послезавтра совсем невозможно.

Вероника посмотрела на часы. Было ровно девять. Двадцать один ноль-ноль. Вполне можно успеть.

Вероника метнулась к зеркалу. Вымыла лицо и на чистую кожу стала класть вечерний грим: золотые тени. Темные румяна. Зеркало льстило ей до неправдоподобности. Оттуда глядела другая Вероника – интуитивная и гениальная. Ее перетряхивал внутренний озноб.

Подошла Аня и тоже стала краситься. Вероника не обращала внимания. В ней билась потребность: видеть. И было непонятно: то ли кровь пульсирует в горле, в губах, то ли это «видеть... видеть... видеть...».

– Ты куда? – отвлекся от газеты Алеша.

– Потом скажу, – пообещала Вероника.

– Потом можешь не говорить.

Вероника открыла дверь и вошла в ресторанный зал. Она сразу увидела банкет Пяткина и пошла к длинному столу в углу ресторана. Раздался дружный хруст. Это хрустели шейные позвонки выворачиваемых шей. На Веронике было черное вечернее платье. Главным в этом платье было его малое присутствие. Оно было короткое и открытое, держалось ни на чем, на каких-то планочках и перепоночках.

Егоров не увидел ее первого появления. Он сидел во главе стола, склонив тяжелую бычью голову, смотрел в стол. Когда он пил, в нем просыпался Тюнька, вздымалась какая-то черная вода и начинала ломать берега. Но это бывало позже. А сейчас чувство вины перед всем миром.

Он поднял глаза и увидел журналистку, почти голую, накрашенную, как в театре. Егоров решил, что напился. Так не может быть. Она глядела на него не отрываясь, держа бокал возле лица. Глаза притягивали, втягивали. Ему показалось: он поехал со столом в эти глаза.

– За диссертацию! – сказал Петраков.

– А что за нее пить? Плохая диссертация, – простодушно объявил Марутян.

– Ты все говоришь правильно, но нарушаешь условия игры, – бесстрастно заметила жена Пяткина. – Или ругай и стой за дверью. А если сел за стол – помалкивай.

Кто-то засмеялся, но Егоров заметил, что мама Пяткина огорчилась. Он поднялся с бокалом в руках.

– Внутриутробные дети слышат и понимают. У них свой слух и своя память. Поэтому при них нельзя ссориться. Их надо любить. Любовь должна сопровождать человека до того, как он появился. Всю его жизнь. И потом. После жизни.

Глаза продолжали тянуть так сильно, что Егоров покачнулся. Пришлось взяться рукой за стол. Мысли сбились. От ее глаз было никуда не деться. Он тряхнул головой и бросил свое лицо в ее сторону. И его синие в белых лучах полетели в ее карие в золотой пыли. Над столом как будто протянулись провода высокого напряжения. Грохнула музыка, тоже какая-то электрическая. Марутян пригласил Веронику танцевать. Она пошла с ним в трепыхающийся круг, стала его частью. Но из-за плеча Марутяна искала егоровское лицо. Она уже без него жить не могла. Она снова стала реликтовым листком, а Егоров водой. Она впитывала эту воду каждой клеточкой, оживала. И все остальное рядом с этим отодвинулось далеко, уменьшилось до точки: ссоры, статьи, примирения, Анина болезнь. Стыдно сознаваться, но даже Анина болезнь в эту минуту была меньше той космической энергии, которой, может быть, и заряжается все живое на Земле.

Музыка кончилась. Она подошла к нему и села рядом.

– Как тебя зовут? – спросил Егоров.

– Вероника.

– Ты неправильно произносишь свое имя. ВерОника. – Он сделал ударение на «о». – От слова «ВерОна».

Вероника вспомнила, что Верона – это итальянский город, в котором разыгрывалась одна из шекспировских трагедий.

Петраков наполнил их рюмки.

– Я видел, как она на тебя смотрела, – сказал Петраков. – Знаешь, что она от тебя хочет? Чтобы ты на ней женился.

Вероника покраснела. У нее было чувство, как будто ее схватили за руку в чужом кармане.

– А ты женись, Коля, – продолжал Петраков. – Послушай меня. Я уже старый. Женись, а то будешь потом по одному чулку давать, чтобы за вторым приходили. Она тебя любит. Она ради тебя всех пошлет. Потом другого полюбит и тебя пошлет.

Егоров слушал внимательно, склонив бычью голову. Выпил то, что налил ему Петраков, и устремил глаза впереди себя. Он вспомнил своего пробного сына, детей в реанимационной, попивающую жену. Что будет с ними со всеми?

– Нет. – Егоров качнул головой. – Я не могу.

– Ну и дурак, – заключил Петраков.

– Дурак, – согласился Егоров.

Вероника констатировала, что он от нее отказался. Она даже не огорчилась в первую минуту, просто констатировала сей факт: он выбросил ее листок из своей воды. Но этот реликтовый листок не погибнет. Он, правда, не живет. Погружается в спячку. Но не погибает. То, что недавно отодвинулось, стремительно вернулось на место. Анина болезнь выдвинулась на крупный план, загородила егоровские глаза.

– У меня к вам дело, – спокойно сказала Вероника.

– Я слушаю. – Егоров сосредоточился.

– Не здесь. И не сегодня. Давайте завтра.

– Хорошо. Приходите ко мне на работу.

– Если можно, на нейтральной территории. Скажем, в Доме журналистов. В семнадцать ноль-ноль. Вам удобно?

– Вполне.

– Вас туда не пустят без меня. Я буду ждать вас у входа.

Есть места, где он главный, а есть места – где его без нее не пустят. Это был еле заметный щелчок по носу. Унижение за унижение.

Вероника поднялась и пошла из зала.

Взяла пальто. Вышла на улицу.

Очередь на такси была небольшая, но ветер дул, как на вселенском сквозняке. Веронике казалось, что она стоит между двумя океанами. Голое платье мстило, как умело.

– Кому до Рижского вокзала? – спросил таксист.

Рижский вокзал находился на противоположном конце от ее дома, но Вероника вышла из очереди и села в машину.

На переднем месте уже кто-то сидел. Вероника села за его спиной. Машина тронулась. Это было шестое такси за сегодняшний день. О! Какой длинный день. Как давно он начался и сколько вместил: конфликт, влюбленность, разрыв. Одно вытекало из другого. Влюбленность из конфликта, разрыв из влюбленности. Любовь в понимании Вероники – это восхищение плюс секс. Она им восхищалась, и она его желала. Значит, любовь ее была настоящей. И разрыв тоже настоящий. В судьбу он ее не взял, а в интрижку или, как говорят, «в роман» она не хотела. С ним не хотела. Ее любовь была замыслена на судьбу, и не стоило уродовать замысел. Пускаться в роман с женатым человеком – значило рвать душу и тело. Этих романисток полные психушки. Вероника не была ханжой. Просто знала, что из чего вытекает. А как хотелось встать

перед ним на колени и сказать: спаси. Не спас. Он не бог. Он летчик. Значит, надо спастись самой. Где-то дела с музеем. Навести порядок в судьбах тех, кто будет жить потом. На каждого Зубаткина есть по Нечаеву. На каждого умного – по дураку. А именно дураки, вернее, чудаки, что тоже разновидность дураков, – именно они спасали мир. Значит, статью надо назвать не «Убийцы», а «Чудаки». Она спрячется за Аню и за Нечаева. Она спасет их, а они ее. И другого спасения нет.

Машина остановилась. Пассажир расплатился и вылез.

– Ленинский, – сказала Вероника.

– Так это ж на другом конце, – удивился таксист.

– Покатаемся.

– У меня смена кончилась. Здесь мой парк.

– Ну, выбросьте меня на панель, – предложила Вероника.

Таксист оглянулся, посмотрел на пассажирку. Потом вздохнул и поехал по адресу.

Лифт сломался. Пришлось идти пешком на свой пятый этаж. Сверху раздались гулкие каменные шаги, будто спускалась статуя Командора. Вероника замерла.

– Стоять, – зловещим шепотом приказала статуя. И повторила: – Стоять!

Страх открыл в Веронике какие-то дополнительные клапаны, она побежала вниз, как бы сказала подруга Эмка, «помчалась впереди собственного изображения». Выскочила на улицу. Налетела на молодого военного. Военный был аккуратненький и с портфелем.

– Прошу вас. – Она схватила его за рукав. – Меня убивают.

В этот момент из подъезда выбежала собака и выволокла на поводке хозяина. Собака задрала лапу, торопиться ей уже было некуда. Хозяин огляделся по сторонам и стал проделывать то же, что и собака.

– Этот? – спросил военный у Вероники.

– Этот, – неуверенно сказала она.

Военный приблизился к хозяину собаки.

– Как вам не стыдно, – укоризненно сказал он.

– А что? – удивился хозяин. – Здесь все собак выгуливают.

Военный опять посмотрел на Веронику.

– Извините, – сказала она и пошла к своему подъезду.

Алеша не спал. Читал лежа.

– Меня чуть не убили! – разъяренным шепотом объявила Вероника. – А ты все книжки читаешь.

– А где тебя носит по ночам?

– Я делаю то, что должен делать ты! Потому что если не ты и не я, то кто?

– Ты не ответила на вопрос. Я спросил: где ты была?

– Охотилась за врачом.

Алеша успокоился, но не до конца.

– Молодой? – спросил он.

– Полтинник, – с пренебрежением определила Вероника. – Отговорила роща золотая березовым веселым языком.

Она зачеркивала Егорова, чтобы усыпить Алешину ревность и уговорить себя. Так поступал отец Григория Мелехова Пантелей из «Тихого Дона». Он всегда обесценивал утрату.

Вероника легла в постель. Алеша обнял ее. Она закрыла глаза и представила, что рядом Егоров. Она видела его лицо над своим лицом. Слышала тяжелые нежные мужичьи руки. Прижимала его к себе и прижималась сама, чтобы стать одним.

Потом Алеша заснул. Вероника лежала, смотрела над собой и чувствовала себя зайцем, которому на лапы налипла половина поля.

Егоров вошел в свой дом, а правильнее сказать: в квартиру. У него была квартира, а не дом. Дома у него не было.

Все спали. Здесь никто никого не ждал. Он прошел в свою комнату в конце коридора, сел на кровать. Стал расшнуровывать ботинки. Он долго оставался головой вниз и чуть не свалился. Но все-таки не свалился, а снял ботинки и лег. Кровать была по-солдатски узкая. И плед из верблюжьей шерсти по цвету напоминал солдатскую шинель.

Егоров заснул одетый и увидел сон, такой явственный, что, казалось, и не сон. Ему приснилось, будто он заснул одетый. Вошла Вероника и тронула его за плечо.

«Чего?» – спросил Егоров и сел на кровати.

«Мы еще молодые. У нас есть большой кусок жизни. Можно прожить его в счастье».

«Я уже не молодой, – поправил Егоров. – Но счастья все равно хочется».

Они вышли из его квартиры, чтобы оказаться на нейтральной территории. Зашли за дом. Егоров расстелил на земле свой плед. Они легли рядом. Мимо ходили люди. Егоров обнимал Веронику и одновременно с этим думал: почему надо было ложиться в грязь и обниматься при людях? Что, разве нет другого места? Он испытывал мучительную неловкость и желание, острое до потрясения.

Егоров проснулся от того и от другого, от желания и от неловкости. Тикал будильник, как мина с часовым механизмом. Какой-то благодарный родитель подарил сувенирные часы на батарейках в форме большого ключа.

Егоров слушал это тиканье и подумал: «А вдруг...»

Сима сидела с заговорщическим видом.

– К вам от Борулавы, – таинственно предупредила она.

Борулава был могущественный человек. Борулавам не отказывают.

Егоров вошел в кабинет. В кабинете сидело четверо: пара немолодых родителей, девочка лет шести и парень, возможно, старший сын. Перед каждым стоял чай. Сима молодец. Но к чаю никто не притрагивался. Родители сидели прямо, будто аршин проглотили. Они были черноволосы, темнолики и в черном.

Молодой парень поднялся навстречу Егорову. Остальные остались сидеть и не изменили выражения лица.

– Они не знают по-русски, – сказал парень. – Я буду переводить.

– Вы откуда? – доброжелательно поинтересовался Егоров.

– Из Местии. Мы сваны.

Егоров вспомнил, что Сванетия – горная страна и люди, как их природа, суровы и сдержанны. Там не принято выражать своих чувств. Женщина протянула Егорову листок. Это была выписка из истории болезни. Диагноз оказался суров: рак нёба.

Егоров не стал говорить лишних и нелишних слов, поскольку родители в них не нуждались, к тому же не понимали по-русски. Он молча поставил перед собой девочку, попросил раскрыть рот. Девочка поняла, доверчиво распахнула рот, открыв белые, как сахарочек, зубки. В отличие от родителей, у девочки было совсем неплохое настроение. Посреди нёба – довольно большая опухоль с некротическим пятном посреди. Егоров потрогал ее пинцетом. Опухоль была нетипично плотной. Егоров вглядывался, вглядывался в нее – так прошла целая минута. Девочке надоело стоять с раскрытым ртом. Она захлопнула его и хитро посмотрела на Егорова.

– А ну-ка открой еще разочек, – попросил он.

Девочка послушалась. Широко распахнула рот. Егоров подвел пинцет под опухоль. Потянул вниз. Раздался влажный чмокающий звук, и опухоль отделилась. Это был пластмассовый

глаз от куклы. А то, что он принял за некротическое пятно, – черный зрачок, нарисованный на пластмассе. Видимо, в один из дней девочка засунула в рот полусферу глаза и присосала ее к небу. Поверхность была гладкая и не мешала девочке, она прекрасно с этим глазом ужилась.

– Все, – сказал Егоров. – Идите домой.

– Вы отказываетесь от операции? – спросил парень. – Нам сказали: вы возьметесь. Нам сказали: если не вы, то никто.

– Диагноз ошибочный, – объяснил Егоров. – Это не опухоль. Это глаз от куклы. Иностранное тело. А ребенок совершенно здоров.

Переводчик перевел.

Девочка подошла к родителям, раскрыла рот. На том месте, где была «опухоль», осталось синюшное пятно.

У них не принято выражать не только горе, но и радость.

Родители остались сидеть в прежних позах, но сумасшедшая радость, взметнувшаяся в них, напирала на их глаза. Они сидели с вытаращенными от радости глазами.

– Можете идти, – разрешил Егоров.

Они поднялись, но не уходили. Егоров догадался, что они хотят дать ему деньги. Но он не брал деньги за чужое невежество.

Наверняка Егоров был не первый врач, к которому они обращались. И никто не сумел отличить опухоль от иностранного тела. Егоров читал лекции на курсах усовершенствования врачей и видел этих «специалистов», приехавших из глубинки. Он знал, что такое может быть. Уровень современных «земских врачей» ужасающ.

– Идите, – мягко сказал Егоров. – Ничего не надо. Я ничего не сделал.

Они продолжали стоять: то ли не понимали, а может, не могли двигаться от радости. Большая радость, как и большая боль, действует как шок. Егорову некогда было пережить шок, а выпроваживать было неудобно. Он попрощался за руку с девочкой и вышел из кабинета. На ходу сказал Симе:

– Проводите их, только пожеливее.

Лифт был занят. Егоров пошел пешком на седьмой этаж, шагая через ступеньку, как школьник. Чужая радость заразительна. У него за плечами как будто выросли крылья. Спал он мало, но чувствовал себя молодым и ясным.

Егоров вбежал в отделение. Здесь его интересовал определенный ребенок. Его привезли из Комсомольска-на-Амуре. Ребенок родился двуполым. В древности такие особи считались совершенными, их называли именем двух богов: Гермес и Афродита. Сейчас это воспринимается как порок развития, который следует устранить. Надо было определить пол и сделать ребенку операцию. Рентгеновские снимки показывали одинаковые возможности.

Завотделением Галина Павловна – большая и теплая, как русская печь, находилась в своем кабинете. При виде Егорова вспыхнула, как старшеклассница. Она была тайно, по секрету от самой себя, влюблена в Егорова. Ему это нравилось.

– Невропатолог смотрел? – спросил Егоров.

– Смотрел. Вот заключение. – Галина Павловна протянула заключение. – Невропатолог считает: из этого ребенка не получится полноценный член общества. Зачем тогда оперировать? Мучить зря.

– А ну-ка позовите его, – попросил Егоров.

Заведующая вышла и через минуту привела человечка четырех лет с носиком, как у воробышка, большими рыжими глазами. В этом возрасте пол почти не заметен, но челочка надо лбом указывала, что родители воспринимают его как мальчика. На нем была больничная пижама с коротковатыми штанами. Виднелись косточки от щиколоток. «Как в палате номер шесть», – вспомнил Егоров.

– Ну, здравствуй! – обрадовался встрече Егоров.

Мальчик тут же поверил, что ему чрезвычайно рады.

– Здравствуй! – ответил он и вложил свою крохотную руку в егоровскую громадную.

– Как тебя зовут?

– Саша. А тебя?

– Николай Константинович, – представился Егоров. – А ну-ка, Саша, угадай: лягушка квакает или каркает?

– Лягушка квакает, ворона каркает! – радостно прокричал Саша.

– А поезд катится или летит по воздуху?

– Поезд катится, самолет летает.

– А почему самолет летает?

Вопрос был трудным, но мальчик, не задумываясь, отчеканил:

– Самолет летает на бензине.

– На керосине, – поправила Галина Павловна. – Он дешевле.

Мальчик внимательно на нее посмотрел.

– Можешь идти в палату, – разрешила Галина Павловна.

Ребенок зашагал. Коротковатые штаны открывали узенькие, как палочки, щиколотки.

– Он не отстает, – определил Егоров. – Почему невропатолог дал такое заключение?

– Она у нас хамоватая, может, он и зажался. Да и вообще в наших, прямо скажем, не курортных условиях дети... – Она подумала, как сказать, не могла найти нужного определения.

– Ладно, понятно, – остановил Егоров ее поиск нужного слова. – А что родители? Как они к нему?

– Обожают. Целыми днями под окнами сидят, чтобы он их из окна видел.

– Значит, надо оперировать. Для них. Иначе, представляешь, что у них будет за жизнь?

Егоров поймал себя на мысли, что еще три дня назад он не стал бы перепроверять заключение невропатолога. А ссора с Вероникой и вообще сама Вероника заставили его остановиться, оглянуться. И от этого три судьбы резко меняют курс, разворачиваются от отчаянья к спасению.

– А кого будем делать: мальчика или девочку? – спросила Галина Павловна.

– А вы как считаете? – спросил Егоров.

– Мальчика. Мужчинам легче жить.

Егоров пришел на десять минут раньше. Вероники еще не было. Он стал ходить взад-вперед и подумал, что не ходил вот так взад-вперед и не ждал никого лет тридцать. У него никогда не было левых романов – не из-за повышенной нравственности, а из-за того, что он любил жену. Первые пятнадцать лет он действительно любил, потом думал, что любит, а теперь стал старый и некогда. В дне расписан каждый час. Егоров вспомнил свой сон, вернее, он его не забывал. Во сне из подсознания вылезло то, что он давил в себе: лет навалом, а счастья все равно хочется. Какое-то счастье у него было. Разве сегодняшний день не счастье? Дарить людям жизнь, радоваться их радостью – разве этого мало? Но хочется своим счастьем делиться. Быть не одному. И этим небом поделиться – дымным и туманным, будто надымили из печной трубы. А вон ворона полетела. Егорову всю жизнь хотелось летать. Он был уверен, что скоро придумают крылья. Надел их на лямки, как вещевой мешок, оторвался от своего балкона – и вперед. В моду войдут облегченные непродуваемые скафандры. Влюбленные будут летать, взявшись за руки.

Вероника появилась минута в минуту. На ней было черное свободное пальто с капюшоном, черные сапоги – она напоминала католическую монашку. Приблизившись, она подняла руки и показала часы на запястье.

– А я ничего и не говорю, – оправдался Егоров. Он почувствовал себя виноватым за то, что явился раньше.

Они прошли через тяжелую дверь. Когда-то Егоров бывал в этом доме. Считалось, что здесь хорошо кормят. У дверей сидела интеллигентная старушка. Ее ампула – вышибала. Егоров заметил, что в театрах на служебном входе тоже сидят интеллигентные старушки, может, даже бывшие актрисы, и не пускают новое поколение. Сквозь этих старушек надо продираться, как через колючую проволоку.

– Это со мной. – Вероника кивнула на Егорова.

– Да, да, «это» с ней, – подтвердил Егоров, идя за Вероникой. Ему нравилось за ней идти и подчиняться. Нравилось, как убедительно она изображает из себя хозяйку жизни. Танк из папье-маше. Танк для макета.

Они разделись. Егоров еще успел взять у нее пальто и передать гардеробщику. Вероника не привыкла, чтобы за ней ухаживали... Потом они сели за столик в уголке. Народу было немного. Официант возник в полумраке, как фокусник, приподняв над блокнотом фирменный карандашик.

– Что будем есть? – спросила Вероника.

– Кто из нас двоих мужчина? – поинтересовался Егоров.

Официант полуобернулся к Егорову.

– Кофе, – сухо заказала Вероника.

– И все? – удивился Егоров.

– Все. И без сахара.

У Егорова было свое отношение к вопросу питания. Он считал, что преувеличенная потребность в еде – своего рода наркомания. Страна переполнена пищевыми алкоголиками. Едят в пять раз больше, чем требуется для жизнедеятельности. И то, что Вероника отказалась от еды, – было для Егорова признаком культуры.

– А мне супчику, – попросил он. – Я без первого не могу.

– На второе? – спросил официант.

– Больше ничего. Я мало ем.

Официант кивнул и отошел.

Егоров стал смотреть на Веронику. Возле ее уха был затек от косметики. Она положила тон, но на периферийных участках не растушевала его, видимо, торопилась. Была резкая грань между крашеной кожей и некрашеной. Некрашенная поражала своей бледностью и незащищенностью. Хотелось притянуть ее голову к своей груди и замереть. Эта женщина изображала из себя хозяйку жизни, но она была замученная и заброшенная, как детдомовский ребенок. И нежная. Очень нежная. Он помнил все, что было между ними этой ночью, и не имело значения, что этого не было.

Вероника достала из сумки ученическую тетрадь в клеточку. Раскрыла ее и протянула Егорову.

Тетрадь была разлинована на колонки. Над каждой колонкой своя надпись: цвет, удельный вес, реакция, белок, лейкоциты, эритроциты, цилиндры и так далее. Внизу под надписями шли цифры.

– Что это? – удивился Егоров.

– Это анализы моей дочери, – спокойно ответила Вероника. – Я записала все ее анализы за последний месяц.

– Большая бухгалтерская работа, – отметил Егоров.

Он все понял. Она пробралась в его кабинет потому, что у нее больна дочь. Статья – повод. Цель оправдывала средства, и для достижения цели все было пущено в ход, включая вчерашний вечер. А если бы понадобилось, то и ночь. Та ночь, которой не было между ними, могла бы быть. Если бы это было НАДО. Егорова как будто ударили палкой по лицу. На «а вдруг» наступили ногой. «А вдруг» крикнуло под сапогом и сдохло. Егоров молчал, справляясь

с собой. Он, как сван, решил ничем не обнаруживать свои чувства. Она не знает про «а вдруг» и не узнает никогда.

Подошел официант, поставил кофе и солянку.

– Водки, пожалуйста. Я забыл заказать.

Надо было выпить за светлую память «а вдруг». Поставить точку.

– А разве нельзя было нормально мне позвонить и обратиться нормально? Зачем эта легенда с очерком? Зачем было врать?

– Я звонила. Но вы не хотели меня слушать. Сказали, что это несерьезный разговор.

– Когда? – удивился Егоров.

– Вы потребовали снимки. Я сказала, что их нет. Вы бросили трубку.

– Да... – вспомнил Егоров. – Действительно звонила какая-то ненормальная.

– Эта ненормальная – я.

– Но я и сейчас скажу то же самое. Стойкий белок может давать врожденный порок. Его надо исключить. Для этого нужны рентгеновские снимки.

– А можно сделать их амбулаторно? Чтобы не класть в больницу. Привезти ребенка. Сделать. И увезти обратно.

Егоров задумался. Амбулаторная урография, конечно, возможна, но это нарушение правил.

– А кто этим будет заниматься? – спросил Егоров и прямо посмотрел в ее лицо. Тон под ее глазами растрескался, и те морщинки, которые она рассчитывала скрыть, обозначились более явственно.

– Вы! – бесстрашно ответила Вероника и посмотрела на Егорова как человек, имеющий на него права.

Егоров внутренне считал, что она его обманула и он ничего ей не должен. Но ее морщины и бесстрашие отчаянья тронули его.

– Хорошо, – сказал он, помолчав. – Завтра я вас жду.

– Спасибо, – одними губами произнесла Вероника. Чувствовалось, что на этот разговор у нее ушли километры нервов.

– Это все? – спросил Егоров.

– Это все.

Они замолчали отчужденно. Вероника была вся в завтрашнем дне. Завтра Ане проткнут вену и введут синьку, и вся ее кровь станет синей, как у инопланетянки. Надо будет и это пережить.

Официант принес водку и маслины.

– Можно, я не буду с вами пить? – спросила Вероника.

– Ну конечно.

Снова замолчали.

– Как вас дома зовут? – спросил Егоров.

– Ника.

– И меня Ника.

– Почему? – Она искренне удивилась.

– Потому что я Николай.

Ника и Ника. То, что случилось между ними, могло стать любовью, но не стало. Пронесся в небе и сгорел метеорит. А могла быть звезда. Она пошла к нему на встречу во вторник. А он к ней – в среду. Их дороги не совпали на один день. Казалось бы, какая мелочь: один день. Но все трагедии – в несинхронности. Когда это случается на биохимическом уровне клетки – рождаются уроды. А когда несинхронность в судьбах, случаются судьбы-ошибки. Судьбы-уроды.

– Я пойду. – Вероника поднялась.

– Идите, конечно.

Она ушла.

Он положил свою тяжелую голову на тяжелый Тюнькин кулак. Решил напиться до черной воды, но с этим ничего не получилось. Он трезвел с каждой рюмкой, и все предметы вокруг и мысли становились все отчетливее. Теперь он знал своими трезвыми мозгами: время не проходит. Время стоит. Проходит человек. Он, Егоров, прошел свою молодость и свою зрелость. И поднялся на новый возрастной этаж. Поближе к небу. Его игры сыграны. Но зато какие открываются перспективы. Будет лечить детей, запускать в будущее полноценных членов общества. А на тех, кто ищет и надеется, он будет смотреть вниз, как с балкона высокого этажа. Они будут мельтешить внизу в своем кошачьем беспокойстве, а он поплевывать вниз и думать: бегайте, бегайте, думаете, вам что-нибудь покажут... А я свободен. Я ничего не жду. И он будет надо всеми – одинок и свободен. И ближе к Богу.

На другой день, в четверг, Вероника и Аня приехали в назначенное время. Егоров был занят, но их встретил печальный Марутян. Он забрал Аню, а Веронику попросил подождать в приемной у Симы.

– Она без вас будет спокойнее, – объяснил Марутян.

Аня как-то сразу доверилась Марутяну и ушла вместе с ним не без удовольствия.

Вероника осталась ждать. Потекли главные минуты, определяющие дальнейший ход жизни. Все остальное на этом фоне не имело никакого значения. Через полчаса определится: сейчас, сегодня, завтра, через неделю и навсегда.

Сима налила ей кофе – признак особого расположения. Она делила всех посетителей на тех, кому кофе, тех, кому чай, и кому ничего. Ничего – тем, кто думал, что за свои деньги могут купить не только Егорова, но и всю клинику вместе с Симой.

Сима рылась в своих бумагах, печатала на машинке, отвечала на звонки и делала это тихо. Тихо отвечала, тихо переключивала листки. У нее было поразительное понимание второго человека. Это, наверное, и есть интеллигентность: чувствовать другого как себя самого.

Через двадцать минут Марутян привел Аню. Она шла на своих ногах – живая и здоровая и нормального цвета. Однако недовольная. Вокруг ее глаз были красные пятна, значит, всплакнула. Платье было надето задом наперед, застежкой впереди. Вероника подхватила дочь, прижала к себе, чтобы из ее тела мощными струями перетекала любовь в это маленькое беззащитное тельце. Потом поставила Аню на стул и стала поправлять на ней платье. Перевернула застежкой на спину, застегнула все пуговички, сначала на спине, потом на манжетах. Эти привычные домашние действия успокоили Аню. Она чувствовала себя в безопасности. А Сима смотрела на них и качала головой.

– Сюда лучше не попадать, – приговаривала Сима. – Лучше не попадать.

Вошел Егоров. Марутян протянул ему мокрые рентгеновские снимки. С них капала вода.

Егоров и Марутян пошли в кабинет. Вероника растерянно посмотрела на Симу. Сима махнула ей рукой в сторону кабинета. Вероника и Аня вошли следом. На них не обращали внимания.

Егоров поставил рентгеновские снимки на светящийся экран. Стал смотреть с пристрастием. Марутян стоял рядом. Они переговаривались. Вероника прижала к себе Аню. Ждала. Каждый нерв был взвинчен до предела. Так, наверное, переживали партизаны в погребке, когда наверху ходили немцы и непонятно: пронесет или убьют.

Вошел Кабан. Увидел Веронику и счел нужным развлечь ее разговорами. Он сыпал словами, чуть не анекдотами. Хотелось сказать «да заткнитесь», даже ударить. Но Вероника молчала, физически мучаясь от его голоса.

Егоров выключил экран.

– Затемнение в лоханках, – сказал он. – Процесс на почки не распространился. Пиелит.

– Это хорошо или плохо? – не поняла Вероника.

– Это лучше, чем пиелонефрит, – объяснил Марутян.

– Я бы антибиотиков не давал. Заваривайте травы: медвежье ушко, петрушку. Клюквенный морс. Побольше питья.

– А врожденный порок? – растерянно спросила Вероника.

– Его нет, – ответил Егоров.

– Это не такое уж частое явление, – подробнее объяснил Марутян. – Врожденные пороки по статистике бывают у двенадцати процентов. Вы попали в семьдесят восемь процентов нормы.

Вероника молчала. У нее было потрясенное лицо.

– Но ведь в семьдесят восемь процентов попасть легче, чем в двенадцать, – растолковывал Кабан. Видимо, он принял растерянность Вероники за ее бестолковость.

Вошла Галина Павловна. Они с Егоровым заговорили о своем. Вероника поняла, что она лишняя. Взяла Аню за руку, и они пошли из кабинета.

– До свидания, – попрощалась Вероника.

– До свидания. – Егоров поднял на нее спокойные льдистые глаза.

Из кабинета вышли в приемную.

– Скажи тете: спасибо, – посоветовала Вероника.

– Спасибо, тетя, – послушно отозвалась Аня.

– Пожалуйста, моя деточка! – Симины глаза увлажнились. – Какая чудесная девочка. Как пирог с вишнями!

Аня сконфуженно улыбнулась, склонив голову к плечу. Она любила, когда ее хвалят.

Егоров подошел к окну. Смотрел, как Вероника и девочка идут по больничному двору. Девочка была похожа на мать, и ему показалось, что Вероника идет рядом со своим детством. Егоров подумал: обернется или нет? Не обернулась. Вышла за ворота. Последний раз промелькнула сквозь решетки ее легкая голова.

В кабинете было душно. Панельные блоки не дышали. Егоров отомкнул тугие шпингалеты, раскрыл окно. Внизу, из-за дерева, возникла пара сванов. Похоже, они караулили Егорова, чтобы попасться ему на глаза. Они выступили из-за дерева и застыли в неподвижности, как бы являя собой композицию: благодарность. Их руки были прижаты к груди, глаза умиленно растарашены, губы шевелились, как во время молитвы. А может быть, они действительно на него молились.

Вероника зашла в автоматную будку, нашарила в кармане монету, позвонила Алеше на работу. Он ждал ее звонка. Алешин голос радостно взметнулся. Вероника дала трубку Ане. Она сказала свои «да» и «нет». В будке пахло мочой.

Вышли на улицу. День стоял ясный, умиротворенный, обеспечивал сейчас, сегодня и всегда. Все страхи закончились клюквой и петрушкой. Практически ничем. Вероника должна была испытывать не просто радость – счастье до эйфории. Но счастья не прослушивалось. Была усталость. И пустота. Хотелось сесть и не двигаться, как зайцу. Но Аня шла рядом, вложив в ее руку свои сапучие пальчики. Значит, надо было идти. И она шла.

Дома их встретила Нюра с котенком на плече. Котенок был крошечным, величиной с варежку.

– С работы привезли, – объяснила Нюра.

Вероника догадалась, что главный передал обещанное через курьера.

Нюра поставила котенка перед Аней. Он поднял хвост и зашипел. Аня испугалась, и ее личико стало напряженным. Они стояли друг перед другом: маленькая девочка и маленькая кошка – и боялись друг друга.

– Во тьманник! – незло осудила Нюра котенка. «Тьманник» – значило носитель тьмы.

– Какой же он тьманник, – заступилась Вероника. – Он маленький.

Вероника подняла котенка с пола, посадила его себе на плечо. Прижалась щекой к его щеке. Он тут же замурлыкал в самое ухо – так громко, будто затрещал, как мотоцикл. Может быть, он пел свой кошачий гимн солнцу.

Сентиментальное путешествие

– Ой, только не вздумайте наряжаться, вставать на каблуки, – брезгливо предупреждала толстая тетка, инструктор райкома. – Никто там на вас не смотрит, никому вы не нужны.

Группа художников с некоторой робостью взирала на тетку.

ТАМ – это в Италии. Художники отправлялись в туристическую поездку по Италии. Райком в лице своего инструктора давал им советы, хотя логичнее было бы дать валюту.

Шел 1977 год, расцвет застоя. Путевка в Италию стоила семьсот рублей, по тем временам это были большие деньги. Восемь дней. Пять городов: Милан, Рим, Венеция, Флоренция, Генуя.

– Возьмите с собой удобные спортивные туфли. Вам придется много ходить. Если нет спортивных туфель, просто тапки. Домашние тапки. Вы меня поняли?

Лева Каминский, еврей и двоеженец, угодливо кивнул. Дескать, понял. Видимо, он привык быть виноватым перед обеими женами, и это состояние постоянной вины закрепилось как черта характера.

Романова тоже кивнула, потому что тетка в это время смотрела на нее. Смотрела с неодобрением. Романова была довольно молодая и душилась французскими духами. Душилась крепко, чтобы все слышали и слетались, как пчелы на цветок. Романова была замужем и имела пятнадцатилетнюю дочь. Но все равно душилась и смотрела в перспективу. А вдруг кто-то подлетит – более стоящий, чем муж. И тогда можно начать все сначала. Сбросить старую любовь, как старое платье, – и все сначала.

Фамилия Романова досталась ей от отца, а отцу от деда и так далее в глубину веков. Это была их родовая фамилия, не имеющая никакого отношения к царской династии. Прадед Степан Романов был каретных дел мастер. Все-таки карета – принадлежность высокой знати, поэтому, когда Романову спрашивали, не родственница ли она последнему царю, – делала неопределенное лицо. Не отрицала и не подтверждала. Все может быть, все может быть... И новая любовь, и благородные корни, и путешествие в Италию.

– Вообще Италия – это что-нибудь особенное, – сказала инструктор. – Там невозможно прорыть метро. Копнешь – и сразу культурный слой.

– Там нет метро? – удивился искусствовед Богданов. – Если я не ошибаюсь, в Италии есть метро.

Богданов был энциклопедически образован, знал все на свете. Впоследствии выяснилось, что он знал больше, чем итальянские экскурсоводы, и всякий раз норовил это обнаружить: перебивал и рассказывал, как было на самом деле. В конце концов советские туристы поняли, что им подсовывали дешевых экскурсоводов, по сути, невежд и авантюристов. И гостиницы предоставляли самые дешевые. И купить на обменные деньги они могли пару джинсов и пару бутылок минералки.

Но это позднее. Это не сейчас. Сейчас все сидели и слушали тетку, которая желала добра и советовала дельные вещи, но при этом разговаривала, как барыня с кухаркой, которую она заподозрила в воровстве. В ее интонациях сквозили презрение и брезгливость.

Романова выразительно посмотрела на человека, сидящего напротив, как бы показывая глазами, что она не приемлет этот тон, но не хочет спорить.

Сидящий напротив, в свою очередь, посмотрел на Романову, как бы встретил ее взгляд, и Романова забыла про тетку. Ее поразил сидящий напротив. У него был дефицит веса килограммов в двадцать. Он не просто худ, а истощен, как после болезни. Волосы – цвета песка, темнее, чем пшеничные. Блондин на переходе в шатена. Песок после дождя.

Романова не любила черный цвет и как художник редко им пользовалась. Черный цвет – это отсутствие цвета. Ночь. Смерть. А песок имеет множество разнообразных оттенков: от

охры до почти белого. И его волосы именно так и переливались. Глаза – синие, странные. Круглые, как блюдца. Именно такие глаза Романова рисовала своим персонажам, когда оформляла детские книжки. У нее мальчики, девочки и олени были с такими вот преувеличенно круглыми глазами.

Небольшая легкая борода, чуть светлее, чем волосы. Песок под солнцем.

«Как герой Достоевского, – подумала Романова. – Раскольников, который сначала убьет, а потом мучается. Всегда при деле. А так, чтобы жить спокойно, не убивая и не мучаясь, – это не для него».

Тетка тем временем заканчивала свое напутствие. Она сообщила вполне миролюбиво, что жить туристы будут по двое в каждой комнате: женщина с женщиной, а мужчина с женщиной. И выбрать напарника можно по своему усмотрению.

– Это мы вам не навязываем, – благородно заключила инструктор райкома.

– Спасибо, – угодливо сказал двоеженец.

Богданов скептически хмыкнул. Тетка настороженно посмотрела на Богданова.

Романова огляделась. С кем бы она хотела поселиться? Женщины в большинстве своем были ей незнакомы, в основном – сотрудницы музеев. Одна – яркая блондинка – жена Большого Плохого художника. И карикатуристка Надя Костина, про нее все говорили, что она – лесбиянка. В Москве семидесятых годов это была большая редкость и даже экзотика. Романова предпочитала никак не относиться к этой версии. Каждый совокупляется как хочет. Почему остальные должны это комментировать? При этом Костина была выдающаяся карикатуристка, у нее был редкий специфический дар. Может быть, одно с другим как-то таинственно связано и называется «патология одаренности». Если, конечно, лесбиянство считать патологией, а не нормой.

Но может быть, все эти разговоры – сплетня. Сплетни заменяют людям творчество, когда у них нет настоящего. Когда их жизнь пуста. В пустой жизни и драка – событие. На пустом лице и царапина – украшение. Обыватели не любят выдающихся над ними и стремятся пригнать, пригнуть до своего уровня. Так что вполне могло быть, что Надя Костина – жертва человеческой зависти.

Все поднялись со стульев. Костина подошла к Романовой и элегантно спросила:

– Тебе не мешает сигаретный дым?

– Нет, – растерянно сказала Романова.

– Тогда поселимся вместе. Не возражаешь?

Отвечать надо было быстро. Романова испугалась, что Надя заметит ее замешательство, и торопливо проговорила:

– Конечно, конечно...

– Какие духи... – Надя элегантно повела в воздухе сигаретой.

Ее слова и жесты были изысканны, но лицом и одеждой она походила на спившегося молодого бродягу. Кое-какие брюки, висящие мешком, пиджак она надевала на мужскую майку. Кепка. Сигарета. Если на нее не глядеть, а только слушать и смотреть ее работы...

Но придется глядеть и даже спать в одном помещении.

После собрания Романова поехала домой на такси, продолжая слушать в себе некоторое замешательство. Она уже ругала себя за то, что сразу не сказала: нет. Отказывать надо сразу и резко. Тогда не будет никаких обид. Но Романова не умела сказать: нет. Не водилось в ее характере такой необходимой для жизни черты. Этим все пользовались. Но и она, надо сказать, тоже широко пользовалась человеческой мягкостью и добротой. А ее много вокруг, доброты. Просто люди больше замечают зло, а добро считают чем-то само собой разумеющимся. Как солнце на небе. Добро заложено и включено в саму природу. Солнце светит, под солнцем зреет огурец на грядке. Человек его ест. Потом сам становится землей, и на нем (на человеке) зреют огурцы.

И никто никому не говорит «спасибо». Огурец не говорит «спасибо» солнцу, а человек не благодарит огурец. И земля не говорит человеку «спасибо», принимая его в себя. Все само собой разумеется.

Солнце светит потому, что это надо кому-то. Земле, например. Само для себя солнце бы не светило. Скучно светить самому себе. И Романова для себя лично ничего бы не рисовала. Она оформляет детские книжки, это надо детям.

В этих и других размышлениях Романова провела день до вечера, успевая при этом заниматься по хозяйству, и готовиться в дорогу, и отвечать на телефонные звонки.

Вечером позвонил детский писатель Шурка Соловей и попросил, чтобы вышла.

Романова когда-то года два назад оформляла Шуркину книгу, и они один раз переспали. От нечего делать. Шурка не годился в мужья. И в любовники тоже не годился. Почему? А черт его знает.

Была всего одна ночь, но они оба запомнили. Шурка много говорил, рассказывал все свое детство, выворачивал душу наизнанку, как карман. И они вместе рассматривали, перебирали содержимое этого кармана – откладывая ненужное в сторону. Что-то выкидывали вовсе. Вытряхивали, чистили Шуркину душу.

Производили генеральную уборку.

А утром жизнь растащила по своим углам. Была одна ночь, которая запомнилась. И туда, как к колодцу, можно было ходить за чистой водой. Зачерпнешь воспоминаний, умоешься – и вперед.

Шурка позвонил вечером и сказал:

– Спустись вниз.

Романова спустилась. Шурка сидел в машине. В старом «москвиче».

Романова села рядом. В машине было неубрано, валялись железки, банки, тряпки. Это была одновременно и машина и гараж.

– У меня от поездки остались восемь тысяч лир, – сказал Шурка. – Это копейки. Самостоятельно на эти деньги ничего не купишь. Но доложишь и купишь.

Шурка вытащил из кармана сложенные бумажки. Протянул.

– Спасибо, – растроганно сказала Романова.

– Ты их только не прячь. Не вздумай совать в лифчик. Положи на виду. В карман плаща.

– А почему надо прятать? – удивилась Романова.

– Провоз валюты запрещен.

– Ты же говоришь, это копейки.

– Не имеет значения. Валюта есть валюта. Восемь лет тюрьмы.

Романова задумалась: с одной стороны – жалко отказываться от денег, а с другой стороны – не хочется в тюрьму.

– Да не бойся, – успокоил Шурка. – Если спросят откуда, скажи: Шурка дал. Назовешь мою фамилию.

– А ты не боишься?

– Нет. Не боюсь.

– Почему?

– Не знаю. Лень мне бояться. На страх надо силы тратить, а я ленивый человек.

Шурка грустно примолк. То ли осуждал себя за лень, то ли скучал по Романовой, по той ночи, когда он был самим собой в лучшем своем самовыражении. Как хорошо и умно он говорил, как неумоимо и счастливо ласкал. Больше у него ни с кем так не получалось. Чего-нибудь обязательно не хотелось: то ли говорить, то ли ласкать.

В машине образовалась тишина. Но не тягостная, когда нечего сказать. А тишина переполненности, когда много слов замерли в воздухе и не движутся.

Смеркалось. По тропинке к дому шли мальчик и девочка, оба юные, тоненькие, как будто несли кувшин на голове. Боялись расплескать предчувствие любви.

Романова взгляделась и узнала свою дочь Нину. Она выскочила из машины и заорала:

– Нина! Я привезу тебе джинсы! Придешь домой, смеряй сантиметром: талию, бедра и расстояние от пупа до конца живота. Поняла?

Нина остановилась и замерла. Она боялась приближаться и идти мимо матери.

Шурка взял Романову за руку и затянул ее в машину.

– А дома ты не могла ей сказать? – с осуждением спросил Шурка.

– Могла. Но это была бы не я.

Вот это правда.

Романова делала в жизни много ошибок, потому что не умела терпеть и ждать. И если разобраться, вся ее жизнь была одна сплошная ошибка, не считая дочери и профессии. Тогда что же остается? Вернее, кто?

Самолет на Милан взлетал в семь утра. В аэропорт надлежало явиться за два часа. Значит, в пять.

Туристы стояли вялые, безучастные. Когда хочется спать, не хочется уже ничего. Природа пристально отслеживает свои интересы и моментально мстит за недостаток сна, еды, питья и так далее и тому подобное.

Сдавали багаж. И в этот момент произошло некоторое оживление. Старушка-анималистка (рисовала животных для наглядных пособий и для детского лото) потеряла паспорт и начала его искать. Похоже было, что она оставила документ дома и поездка срывалась. Пограничники на слово не верят. Это граница. И кто может поручиться, что старушка – не работник ЦРУ. Зайчики, мышки – это так. Для прикрытия. А основная деятельность в другом. В подрыве социалистических устоев. Наверняка эта старушка из бывших. Иначе откуда эта аристократическая манера путешествовать в семьдесят. В семьдесят лет сидят дома и нянчат внуков, а то и правнуков.

Старушка (ее звали Екатерина Васильевна) судорожно рылась в чемодане. Она вспотела, была близка к апоплексическому удару. Двоеженец Лева Каминский взял сумку Екатерины Васильевны и вытряхнул всю ее на пол, на кафедру аэропорта. Покатилась помада, заскользила расческа, выпали смятый носовой платок, мелочь, спички, махорка, высыпавшаяся из сигарет, и среди прочего узенькая книжечка паспорта.

Все выдохнули с облегчением. Лева Каминский поднял паспорт и сам передал таможеннику. Старушке он больше не доверял. Екатерина Васильевна возвращала свое добро обратно в сумку – монетки, помаду – в обратном порядке. В ней все кипело и пузырилось, как в только что выключенном чайнике. Огня уже нет, но еще бурлит и остынет нескоро.

Романова успела заметить, что в момент поиска лица туристов были разнообразны: одни выражали обеспокоенность, другие равнодушие (как будет, так и будет). Третьи были замкнуты. На замкнутых лицах читалось: «Каждому свое» – как на воротах Освенцима.

Раскольников смотрел перед собой и как бы отсутствовал. Возможно, спал стоя. Как конь.

А высокий принаряженный грузин по имени Лаша совершенно не хотел спать. Он был торжественно возбужден предстоящим путешествием. Лаша родился в деревне под Сухуми, в бедной семье. Отец пришел с войны без ног. Все детство прошло возле инвалида, в ущербности и бедности. У Лаши вызревала мечта – выбиться в люди, занять хорошую должность и путешествовать по миру с другими уважаемыми людьми. Все свершилось. Лаша жил в Москве, в самом центре, занимал должность небольшого начальника в Союзе художников. А сейчас отправлялся в страну Италию с художниками и искусствоведами. Свершилось все, о чем мечтал, и даже чуть-чуть больше.

Лаша поглядывал на Романову. Она была самая молодая и самая привлекательная из существующих женщин. Старушка и лесбиянка не в счет. Жена Большого художника – тоже мимо, поскольку притязания на жену – прямой выпад против начальства. Остальные женщины порядочные, а потому пресные.

Лаша недавно развелся и искал подругу жизни. Романова вполне могла стать подругой на период путешествия. Лаша давно заметил, что такие вот – умненькие, очкастые – самые развратные, изобретательные в постели. Лаша старался держаться поближе и поглядывал заинтересованно.

Романова быстро подметила его заинтересованность и решила поэксплуатировать.

– Вы грузин? – спросила она.

– Грузин, – сказал Лаша. – А что?

– Значит, рыцарь?

Лаша насторожился.

– Возьмите себе мою валюту. Тут мелочь...

Романова вытащила итальянские лиры.

Лаша выстроил обиженное лицо. Он не хотел рисковать. Можно было потерять не только путешествие, но и работу. И свободу. А в тюрьме плохое питание, неудобный сон и вынужденное общение. В тюрьме плохо. А он так долго жил плохо и только недавно стал жить хорошо.

Однако отказывать было стыдно, тем более что Романова включила национальное самосознание. Грузин – рыцарь, а не трус.

Лицо Лаши становилось все более обиженным. Сейчас заплачет.

– Ладно, – сказала Романова. – Грузин называется.

Она отошла. Отошла возможность комплексного счастья: Италия + женщина. Оставалась только Италия.

«Ну и черт с тобой, – подумал Лаша. – Зато не будет отвлекать». Лаша был человек увлекающийся, он нырнул бы в Романову с головой и просидел там все десять дней и ничего не увидел. Стоило ехать в такую даль, платить семьсот рублей... Лаша утешился.

Романова стояла в растерянности. Сейчас начнут рентгеном просвечивать ручную кладь и всю тебя. Хоть бери да выбрасывай лиры в плевательницу.

Раскольников держал в руках толстую книгу в рыжем кожаном переплете.

– Давайте познакомимся, – предложила Романова. – Меня зовут Катя Романова.

– Я знаю, – спокойно сказал Раскольников.

– Откуда?

– У меня есть сын, а у сына ваша книга «Жила-была собака». Это наша любимая книга.

– Спасибо, – задумчиво поблагодарила Романова. – Вы не возьмете у меня восемь тысяч лир? Я боюсь.

Она прямо посмотрела в круглые озера его глаз и показала сложенные бумажки.

Раскольников молча взял их и сунул во внутренний карман своего плаща. Всего два движения руки: одно к деньгам, другое к карману. В сущности, одно челночное движение. И весь разговор.

Когда вошли в самолет, сели рядом. Раскольников молча проделал второе челночное движение руки: от кармана к Романовой с теми же сложенными бумажками.

– Спасибо, – сказала она.

– Не за что.

– А вы не боялись?

– Кого? ИХ?

Взгляд его синих глаз стал жестким. В старые времена сказали бы «стальным». Если бы Романова решила нарисовать эти глаза, то подбавила бы в голубую краску немножко черной.

«Странный, – подумала Романова. – Сумасшедший, наверное...»

Вот Лаша – тот не был сумасшедший. Нормальный советский человек.

Раскольников углубился в рыжую книгу.

– А что это у вас? – осторожно спросила Романова.

– Путеводитель по Италии.

– А зачем? Нас же будут возить и водить.

– Вы считаете, этого достаточно?

Раскольников внимательно посмотрел на Романову, и ей стало неловко за свою обыкновенность.

Она откинулась на сиденье и закрыла глаза.

А Раскольников открыл путеводитель на нужной странице и был рад, что ему никто не мешает. Он был серьезный человек и ко всему относился серьезно.

Первое ощущение Италии было на слух. В аэропорту Милана какая-то женщина громко звала: «Джованни-и! Джованни-и!»

Последнее «и» на полтона ниже, чем все слово. В музыке полтона называется малая секунда. А в России кричат: «Ва-ся-я!», и последнее «я» на два тона ниже. В музыке это называется терция. Разница в полтора тона. Мелочь, в общем...

В Италии едят на гарнир спагетти, у русских – картошку. У них каждый день спагетти, у нас каждый день картошка. Тоже мелочь.

У них лира, у нас рубль. У них капитализм, у нас социализм. А вот это не мелочь.

Русские в Италии. Каждый дожил до своей Италии и привез в нее свое душевное богатство и широкую русскую душу. Но со стороны этого было незаметно – широты и богатства. Со стороны гляделся некрасивый багаж, скучная одежда и стоптанная обувь.

Старушка мечтала увидеть Колизей. Богданов – попасть в галерею Уффици.

Лаша осторожно поглядывал на Романову, как бы перепроверяя свои возможности на новой земле.

Романова искала глазами витрины, у нее было на восемь тысяч больше, чем у всех. А Надя Костина, выпавшись в самолете, оглядывала группу. Ей нравилась жена Большого Плохого художника – яркая блондинка. Она была высокая, просторная и белая, как поле ржи. Большие Плохие художники выбирают себе лучших.

А еще Надя постоянно помнила о бутылке водки, которую она с наценкой купила в аэропорту. Бутылка лежала на дне сумки и осмысляла жизнь, как живое существо.

Первый день показался длинным, потому, наверное, что начался в четыре утра. Он тянулся и никак не мог закончиться. И в этом дне запомнился только дождь, что большая редкость в Италии в июне месяце. Италия – южная страна. Находится на одной широте с нашей Молдавией. И язык похож. Но и только. И только. Все остальное – разное. Особенно витрины.

Советские туристы не могли сделать шагу, чтобы не остолбенеть и не замереть, как будто они наступили на оголенный провод и через них пошел ток.

Романова застыла перед шубой. От одного конца витрины до другого, как цыганская юбка, простирался легкий мех норки. Существовала, наверное, особая обработка, после которой мех становился как шелк. Советский мех – как фанера. Может быть, фанера практичнее и нашей шубы хватит на дольше. Но, как говорится, «тюрьма крепка, да черт ей рад».

Лаша замер перед лампой. Она представляла собой большой хрустальный шар, в нем переплетались разноцветные светящиеся нити, и он медленно крутился, как земля, а нити играли зеленым, синим, малиновым.

Лаша понял, что его мечта перешла на новый виток. Теперь он хочет вот такую лампу, вот такую кровать и вот такую женщину. Как на фоторекламе. И вот такую страну. Боже, как это далеко от его деревни под Сухуми. Как жаль отца, который умер и ничего этого не видел. Что видел отец? Деревню. Фронт. Госпиталь. Деревню. Круг замкнулся.

А Лаша прорвал этот круг и вырвался из него – как далеко. До самой Италии. До этой витрины. Лампа кружилась. Обещала.

– Па-сма-три-и... – выдохнул Лаша, обернувшись к Романовой, которая стояла и бредила наяву возле норковой шубы цвета песка.

Жену Большого Плохого художника отнесло к витрине с драгоценностями. Там на бархате сиял бант из белого золота, усыпанный бриллиантами. Надеть маленькое черное платьице и приколоть такой вот бантик. И больше ничего не надо. И тогда можно прийти в любое общество и выбрать себе Самого Большого Плохого художника. Брежнева, например. Леонида Ильича. А можно молодого и нахального, в джинсах, с втянутым животом.

Большой Плохой художник тоже носит джинсы, но у него при этом зад как чемодан. С той разницей, что чемодан можно спрятать на антресоли, а зад приходится лицезреть каждый день.

Подошел художник-плакатист Юкин.

– Тебе нравится? – спросила Жена, указывая на бант.

– Кич, – ответил Юкин.

Кич – значит смешение стилей, то есть безвкусица. Но Жена не знала, что такое кич, и решила, что это одобрение, типа «блеск».

– Купи, – пошутила Жена.

У Юкина не хватало денег даже на коробку.

– Я бы купил, – серьезно отозвался Юкин. – Для тебя.

Жена посмотрела на Юкина. Он был в джинсах, с втянутым животом и всем, чем надо. Но не великий. И даже не маленький. Никакой. Оформлял плакаты типа «Курить – здоровью вредить».

Он был никакой для общества. Но для себя он был – ТАКОЙ. И для друзей он был – ТАКОЙ. А его другом считался и был таковым художник Михайлов. Восходящая звезда. Михайлов писал картины и работал в кино, был одновременно членом двух творческих союзов – художников и кинематографистов.

Пушкин говорил: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Художник Михайлов был дельным человеком, но не думал о красе ногтей, о чистоте волос и о прочих мелочах, сопутствующих человеку. Он был как алмаз, требующий шлифовки. В данный момент на итальянской земле он пребывал в запыленном состоянии, когда алмаз не отличишь от стекляшки.

Костина приблизилась к Михайлову и показала ему горлышко бутылки, как бы спрашивая: «Хочешь?»

Юкин тут же подошел к ним и строго сказал Михайлову:

– Мы же договорились.

– А я ничего, – отрекся Михайлов.

Юкин и Михайлов договорились, что всю Италию они не возьмут в рот ни капли. Они договорились и даже поклялись во время прогулки на Ленинских горах. Как Герцен и Огарев. Суть клятвы была разная. Но решимость довести дело до конца – одна и та же.

– А ты не провоцируй, – строго сказал Юкин Наде.

– Пожалуйста, – обиделась Надя.

Она проявила царскую щедрость, а ее же за это и осуждали. Воистину, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Однако ей скучно было пить без компании. Пить – это не только пьянеть. Это вид сообщества, поиск истины, приобщения к всемирной душе. Трезвые люди – одномерны и скучны. Им не понять великого перехода в третье измерение. Им не понять лесбийской любви, где нет власти и насилия одного над другим, а есть одна безбрежная нежность. Надю Костину вообще никто не мог понять, и она скучала среди людей. И принимала успокоительное в виде алкоголя.

Надя подошла к Богданову и спросила:

– Хотите, Лев Борисович?

– Да что вы, – удивился Богданов. – Я с утра не пью. И вам не советую.

Богданов отвернулся к витрине с антиквариатом. В ней были выставлены старинные граммофоны, шарманки, рамы для картин с тяжелой лепниной. Если бы можно было заложить в ломбард десять лет жизни и на вырученные деньги скупить все это...

Богданов занимался девятнадцатым веком, и ему было интереснее ТАМ. Все интереснее: вещи, мысли, личности, воздух, еда. Здесь, в сегодняшнем дне, он находился как бы случайно. Как эмигрант в чужой стране. И женщины сегодняшнего дня ему не нравились, слишком много в них мужского. Добытчицы, зарабатывают хлеб в поте лица, носят брюки, пьют водку.

Когда Богданов смотрел на женщину, то мысленно переодевал ее в длинное платье, широкополую шляпу, украшенную искусственными цветами. Смешной был человек Богданов.

Но все они сейчас – и смешные, и серьезные, и никакие, – все замерли перед витринами, и их невозможно было сдвинуть с места.

– Не пяль-тесь! – в отчаянье взывал руководитель группы.

Автобус ждал. Все было расписано по минутам. Опаздывать нельзя. Туризм – это бизнес. К тому же совестно за своих: стоят, как дикари, которым показали бусы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.